Негоже лилиям прясть

Автор:
Морис Дрюон

Негоже лилиям прясть

Морис Дрюон

Проклятые короли #4

В трагическую годину История возносит на гребень великих людей; но сами трагедии – дело рук посредственностей. Прошло полгода после кончины Филиппа Красивого. При его правлении Франция была великой державой. Но сын Железного короля Людовик X – монарх слабый и неумелый, и вот уже мятежные бароны сеют смуту в провинции, чиновники разворовывают государственную казну. В стране голод. Но, возможно, это всего лишь сбывается проклятие Великого магистра ордена тамплиеров.

Морис Дрюон

Негоже лилиям прясть

LA LOI DES MALES

© 1957 by Maurice Druon

© Перевод. Н. Жаркова, 2012

© Перевод (комментарии). Л. Ефимов, 2012

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2012

* * *

Государю надобно иметь суждение, готовое кружиться вместе с ветрами удачи… по возможности не отдаляться от добра, но и уметь прибегнуть ко злу, если необходимо.

Макиавелли

Я хочу еще раз выразить горячую признательность Пьеру де Лакретелю, Жоржу Кесселю, Кристиану Гремийону, Мадлен Мариньяк, Жильберу Сиго, Жозе Андре Лакуру за ценную помощь, которую они оказали мне во время работы над этим томом; хочу также поблагодарить работников Национальной библиотеки, Национальных архивов, библиотеки Межан в Экс-ан-Провансе и Флорентийской библиотеки за необходимое содействие моим изысканиям.

М. Д.

Пролог

В течение 327 лет, другими словами, со времени избрания Гуго Капета вплоть до смерти Филиппа Красивого, на французском троне сменилось всего лишь одиннадцать королей, и каждый оставлял после себя сына, будущего наследника престола.

Словно сама судьба благословила эту династию, вызывавшую всеобщее удивление, на длительное царствование, и казалось, ему не будет конца! Из одиннадцати королей мы можем назвать лишь двоих, чье владычество длилось менее пятнадцати лет.

Эта редкостная в истории непрерывность в отправлении власти и передаче ее прямому наследнику способствовала зарождению национального единства, более того, предопределила это единство.

Феодальные связи, связь как таковая вассала с сюзереном, связь более слабого с более сильным, постепенно сменялись иной связью, иным договором, объединившим всех членов этого обширного сообщества, которое столетиями управлялось одним и тем же законом, равно было подвержено одним и тем же превратностям.

Если идея нации еще только завоевывала умы, то самый принцип ее, ее воплощение уже существовали в лице короля, который был высшим источником власти и высшим ее прибежищем. Тот, кто говорил «король», подразумевал Францию.

И всю свою долгую жизнь Филипп Красивый усердно старался укрепить это нарождавшееся единство с помощью сильной централизации всего административного аппарата, систематически пресекая всяческие происки, шли ли они из чужих краев или от его подданных.

Но вскоре после кончины Железного Короля за ним сошел в могилу его сын Людовик Сварливый. Народ не мог не увидеть – и увидел – перст судьбы в этих двух смертях, последовавших одна за другой и подкосивших обоих государей во цвете лет.

Людовик X Сварливый процарствовал всего восемнадцать месяцев шесть дней и десять часов. Впрочем, и в этот недолгий срок незадачливый монарх успел почти окончательно загубить дело рук своего отца. Во время царствования Людовика была убита его первая жена Маргарита и казнен первый министр отца; голод опустошил Францию, две провинции взбунтовались, целая армия увязла во фландрской грязи. Высшая знать вновь повела наступление на прерогативы королевской власти; реакция стала всемогущей, а казна оскудела.

Людовик X вступил на престол в тот период, когда католический мир не имел папы; он скончался, когда папа еще не был избран и христианский мир находился на пороге раскола.

И вот Франция осталась без короля.

Ибо от брака с Маргаритой Бургундской Людовик X имел единственную пятилетнюю дочь – Жанну Наваррскую, которая, по мнению многих, была незаконного происхождения. Королеву Клеменцию Людовик оставил в тягости, и можно было лишь уповать на появление законного наследника, ибо только через пять месяцев она должна была разрешиться от бремени. В довершение всего открыто утверждали, что Сварливый был отравлен.

Ничего не было предпринято для назначения регента, и в ожесточенной борьбе за власть яростно столкнулись личные притязания. В Париже звание регента оспаривал граф Валуа. В Дижоне – герцог Бургундский, родной брат удушенной Маргариты, вожак мощной баронской лиги, решивший отомстить за смерть сестры и ставший таким образом поборником прав малолетней племянницы. В Лионе граф Пуатье, брат Сварливого, старался разрушить козни кардиналов и тщетно добивался решения конклава. Фламандцы не стали мешкать и, воспользовавшись благоприятной обстановкой, вновь взялись за оружие, а сеньоры графства Артуа продолжали вести гражданскую войну.

Разве не достаточно было всего этого, дабы воскресить в памяти народной то проклятье, которое бросил два года тому назад Великий магистр Ордена тамплиеров из пламени костра? И не удивительно, что в ту суеверную эпоху люди в первую неделю июня 1316 года задавали себе вопрос: уж не навек ли проклят род Капетингов?

Часть первая

Филипп – Запри Ворота

Глава I

Белая королева

Траурное одеяние королев – белое.

Белого цвета косынка из тонкой ткани, плотно облегающая шею, скрывает подбородок чуть ли не до самых губ и оставляет открытой лишь середину лица; белого цвета длинная вуаль спускается на лоб и брови; волочится по земле белое платье, рукава туго схвачены у запястий. Вот это-то одеяние, сродни монашескому облачению, надела на себя – и, вероятно, навсегда – королева Клеменция Венгерская, оставшаяся вдовой на двадцать третьем году и прожившая в браке с королем Людовиком X всего лишь десять месяцев.

Отныне никто не увидит более ни прелестных ее золотых волос, ни совершенного овала лица, навсегда померкнет эта лучезарная безмятежность взгляда, этот блеск оживления, который поражал всех ее знавших и прославил на века красоту Клеменции.

Застывшее, как маска, узенькое, трогательное личико, полускрытое ослепительно белой косынкой, носило следы ночей, проведенных без сна, и следы слез, пролитых днем. Даже взгляд и тот изменился; казалось, он ни на чем не задерживается, лишь скользит по людям и вещам. Уже сейчас королева словно превратилась в надгробье собственной могилы.

И все же под складками белого одеяния зрела новая жизнь: Клеменция ждала ребенка; и ни на минуту ее не оставляла упорная, как наваждение, мысль, что ее супругу не довелось увидеть свое дитя.

«Хоть бы до его рождения дожил Людовик, – думала она. – Еще пять месяцев, всего пять месяцев! Как бы он обрадовался, особенно сыну… И почему не понесла я в нашу первую брачную ночь!..»

Королева обернулась к графу Валуа, который, переваливаясь, как каплун, шагал по комнате.

– Но за что, дядюшка, за что могли его так злодейски отравить, почему? – допытывалась она. – Разве не делал он людям добро, всем, кому мог? Почему вы всегда стараетесь увидеть людское коварство там, где проявляет себя лишь воля господня?

– Зато только вы одна приписываете воле господней деяние, которое скорее следует приписать козням сатаны, – отрезал Карл Валуа.

Большеносый, широкоскулый, румяный, с округлым брюшком, в черном капюшоне с высоким гребнем, сбитым на одно плечо, в черном бархатном кафтане с серебряными застежками, сшитом полтора года назад для похорон родного брата, короля Филиппа Красивого, его высочество Валуа прибыл к королеве прямо из Сен-Дени, где он присутствовал при погребении своего племянника Людовика X. Впрочем, на сей раз при исполнении траурного обряда возникли кое-какие осложнения, ибо впервые с тех пор, как был установлен церемониал королевских похорон, герольды, провозгласив «Король умер!», не смогли добавить: «Да здравствует король!», так как никто не знал, перед кем, перед каким новым властелином следует совершить символические жесты, предусмотренные ритуалом.

– Пустое, вы сломите свой жезл передо мной, – посоветовал Валуа первому камергеру усопшего короля, Матье де Три. – Я старший в семье и лучше других подхожу к этой роли.

Но его единокровный брат, граф д'Эвре, возразил против подобного новшества, догадываясь, что Карл выдвинул этот аргумент с целью добиться регентства.

– Старший в нашей семье, если только вы употребили это слово в его подлинном значении, это вовсе не вы, Карл, – заметил граф д'Эвре. – Как известно, наш дядя Робер Клермонский доводится родным сыном Людовику Святому. Неужели вы забыли, что он еще здравствует?

– Вы сами знаете, что бедняга Робер давно лишился рассудка. Разве можно хоть в чем-то полагаться на эту сумасбродную голову! – возразил Валуа, пожав плечами.

Так или иначе, в конце поминального обеда, устроенного в аббатстве, первый камергер сломал жезл – символ своего высокого ранга – перед пустым стулом…

– Разве Людовик не творил милостыню? Разве не простил он многих узников? – твердила Клеменция, словно стараясь убедить самое себя. – Он был великодушен, поверьте мне… А если он и грешил, то каялся…

Вряд ли стоило сейчас оспаривать добродетели, коими королева украшала покойного своего супруга, чей образ неотступно стоял у нее перед глазами! И все-таки Карл Валуа не сумел скрыть раздражения.

– Знаю, племянница, знаю, что вы оказывали на Людовика самое благотворное влияние, знаю, что он действительно был великодушен… в отношении вас, – отозвался Валуа. – Но нельзя царствовать только с помощью молитв или даров, которыми осыпают близких. И одним покаянием не потушить порожденную тобою же ненависть.

«Так вот каков Карл, – печально думала Клеменция. – При жизни Людовика Карл приписывал себе все заслуги монарха, а теперь во что бы то ни стало стремится отрицать их. И меня, меня не сегодня завтра попрекнут теми дарами, что делал мне Людовик. Я опять стала для них чужеземкой…»

Но Клеменция была слишком слаба, слишком разбита, чтобы вознегодовать. Вслух она лишь произнесла:

– Никогда не поверю, что Людовика ненавидели настолько, что решились его отравить…

– Ну и не верьте, племянница, – вскричал Карл, – однако такова истина! Первое тому доказательство – тот самый пес, что лизнул белье, в которое заворачивали внутренности короля при бальзамировании. Ведь пес издох через час. Далее…

Клеменция прикрыла глаза и схватилась за подлокотники кресла, она испугалась, что потеряет сознание перед этой страшной картиной, которую так настойчиво рисовал ей Валуа. Неужели с такой холодной жестокостью говорят о ее муже, о короле, засыпавшем в ее объятиях, об отце ребенка, которого она носит под сердцем? К чему вызывать перед нею ужасное видение трупа, исполосованного ножом бальзамировщиков?!

А Карл Валуа по-прежнему не скупился на зловещие умозаключения. Когда же наконец замолчит он, этот суетливый, властный, честолюбивый толстяк, появляющийся то в голубом, то в алом, то в черном бархате во все решающие или роковые минуты жизни Клеменции с первого же дня ее приезда во Францию и всякий раз лишь для того, чтобы поучать ее, оглушить потоком слов и заставить действовать против ее собственной воли? Еще в утро свадьбы в Сен-

Лие дядюшка Валуа, которого до того Клеменция видела лишь мимолетно, чуть было не испортил торжественную церемонию, поспешив посвятить новобрачную во дворцовые интриги, так и оставшиеся ей непонятными… Перед взором Клеменции возник Людовик, несущийся ей навстречу по дороге из Труа… сельская церковь, комнатка в маленьком замке, наспех убранная под брачные покои… «Достаточно ли я насладилась своим счастьем? Нет, ни за что не заплачу перед ним!» – решила про себя Клеменция.

– Кто виновник чудовищного злодеяния? – продолжал Валуа. – Этого мы пока еще не знаем; но мы его найдем, племянница, торжественно клянусь вам… если, конечно, мне дадут эту возможность. Мы, короли…

Карл Валуа любил при каждом удобном и неудобном случае напомнить, что он тоже носил две короны, правда, носил чисто символически, но это ставило его на равную ногу с владыками мира сего.

– …Мы, короли, имеем врагов, не личных наших врагов, а тех, кто враждебен нашим предначертаниям; и поверьте, немало людей были заинтересованы в том, чтобы сделать вас вдовой. Во-первых, существуют тамплиеры, чей орден, к великому сожалению, уничтожили. Впрочем, я об этом сотни раз говорил!.. Они образовали тайную лигу и поклялись сгубить моего брата и его сыновей. Брат мой скончался, и старший его сын последовал за ним! Затем не забудьте римских кардиналов… Вспомните-ка, что кардинал Каэтани пытался напустить порчу на Людовика и вашего деверя Пуатье, хотел, чтобы их обоих вынесли вперед ногами. Дело открылось, но Каэтани вполне мог отыскать какой-нибудь иной способ сразить их. Что вы хотите, нельзя безнаказанно свергать папу с престола святого Петра, как это сделал мой брат Филипп, и рассчитывать, что этот акт не вызовет озлобления! Возможно также, сторонники герцога Бургундского были возмущены карой, постигшей Маргариту, и не могут примириться с тем, что вы заняли ее место…

Клеменция взглянула прямо в глаза Карлу Валуа, который смутился и даже слегка покраснел. Он сам был причастен, и не в малой мере, к убийству Маргариты. И он понял, что Клеменция это знает; очевидно, Людовик по неосторожности доверился ей… Но Клеменция продолжала хранить молчание: она по-прежнему избегала разговоров на эту тему. Ей казалось, что и на ней лежит вина, пусть даже невольная. Ибо ее супруг, благородное сердце которого она так превозносила, задушил тем не менее свою первую жену, чтобы жениться на ней, на племяннице Неаполитанского короля.

Так нужно ли после этого искать иных причин для постигшей их кары господней?

– Есть еще графиня Маго, ваша соседка, – поспешно добавил Валуа, – а она из тех женщин, которые не отступят перед преступлением, даже самым злодейским…

«А чем же тогда она отличается от вас? – подумала Клеменция, не смея высказать свою мысль вслух. – Здесь, при французском дворе, на мой взгляд, недолго раздумывают, прежде чем убить».

– …А ведь еще месяца не прошло, как Людовик, желая смирить графиню Маго, отобрал у нее графство Артуа.

Тут Клеменции подумалось, что уж не граф ли Валуа, перечисливший с добрый десяток возможных убийц, был виновником преступления. Но она сама испугалась этой мысли, в сущности, не подкрепленной никакими разумными доводами. Нет, она решительно запрещает себе любые подозрения; ей так хочется, чтобы Людовик умер естественной смертью… И однако взгляд Клеменции невольно устремился через открытое окно к густой листве Венсеннского леса, туда, где чуть южнее стоял замок Конфлан, летняя резиденция графини Маго… За несколько дней до кончины Людовика Маго вместе со своей дочерью, графиней Пуатье, нанесла Клеменции визит, самый любезный визит. Клеменция ни на минуту не оставляла их одних.
Они восхищались гобеленами в ее спальне…

«Что может быть унизительнее, чем видеть в каждом приближенном обманщика, – думала Клеменция, – на каждом лице читать измену…»

– Вот почему, дражайшая племянница, – продолжал Валуа, – вам следует вернуться в Париж, о чем я вас и прошу. Вы знаете, как я люблю вас. Я устроил ваш брак. Ваш покойный батюшка был моим шурином. Прислушайтесь же к моим словам, как к словам своего батюшки, если бы бог сохранил нам его. А вдруг рука, сразившая Людовика, захочет распространить свое мщение на вас и на плод вашей любви, который вы носите под сердцем? Я не могу оставить вас здесь, в лесу, беззащитную против происков злодеев, и только тогда я буду спокоен, ежели вы поселитесь поблизости от меня.

Вот уже целый час Валуа пытался вынудить у Клеменции согласие перебраться во дворец Ситэ, ибо он сам решил там поселиться. Это переселение входило в его планы: так ему легче будет заставить признать себя регентом и поставить Совет пэров перед свершившимся фактом. Кто хозяин дворца Ситэ, тот как бы наполовину король. Но если он поселится во дворце один, без королевы Клеменции, это будет похоже на переворот и на узурпацию. Если же Валуа, напротив, въедет во дворец Ситэ вслед за своей племянницей как самый близкий ее родич и покровитель, никто не посмеет возразить. Ныне чрево королевы – верный залог престижа и наиболее действенное, если так можно выразиться, орудие власти.

Клеменция повернула голову, как бы желая испросить совета у молчаливого свидетеля их беседы, который стоял в нескольких шагах от королевы, держа скрещенные руки на эфесе длинной шпаги.

– Что мне делать, Бувилль? – шепнула она.

Юг де Бувилль, бывший первый камергер Филиппа Красивого, на первом же Совете, собравшемся после смерти Людовика, был назначен хранителем чрева королевы. Дородный, уже наполовину седой, но еще подвижный для своего возраста, славный Бувилль, верно прослужив тридцать лет королям Франции, отнесся к своему новому назначению не только всерьез, но чуть ли не трагически. Тщательно проверив отобранных для этой цели дворян, он создал надежную охрану, и стражи группами в двадцать четыре человека в очередь дежурили у дверей, ведущих в королевские покои. Сам он нацепил все свои воинские доспехи и в этот жаркий июньский день безбожно обливался потом под стальной кольчугой. Крепостные стены, дворы, все подступы к Венсенну были забиты лучниками. За каждым слугой, подававшим на стол, ходил по пятам стражник. Даже придворных дам обыскивали, прежде чем допустить их к королеве. Никогда еще так тщательно не охраняли живого человека, как охраняли сейчас эту жизнь, дремавшую во чреве королевы Франции.

Бувилль формально делил свои обязанности с престарелым сиром де Жуанвиллем, назначенным вторым хранителем чрева; о нем вспомнили лишь потому, что в то время он как раз оказался в Париже, куда наезжал с неукоснительной старческой аккуратностью дважды в год за получением пенсиона, выплачиваемого ему при всех трех сменившихся на троне королях, а также за особым пособием, назначенным ему в связи с канонизацией Людовика Святого. Но сенешалю Шампани шел ныне девяносто третий год; в силу своего

преклонного возраста он считался старейшиной высшей знати Франции. Полуслепой старик был сверх меры утомлен этим путешествием в столицу из своего замка Васси в верховьях Марны, и большую часть времени он мирно дремал в обществе двух своих конюших, тоже седобородых старцев. Естественно, все заботы выпали на долю одного Бувилля.

Для королевы Клеменции с образом Юга де Бувилля были связаны самые дорогие ее сердцу воспоминания. Ведь Бувилль был послан просить ее руки от имени французского короля, и он же сопровождал ее в пути из Неаполя во Францию. Он был без лести преданным поверенным ее тайн и, возможно, единственным ее верным другом среди французского двора. Бувилль сразу понял, что Клеменции не хочется покидать Венсенн.

– Ваше высочество, – обратился он к Валуа, – мои обязанности стража мне сподручнее выполнять здесь, в этом замке, обнесенном надежными стенами, нежели в Ситэ, где большой дворец открыт для каждого. А если вы опасаетесь соседства графини Маго, то, коль скоро меня держат в курсе всего происходящего в округе, разрешите сообщить вам, что как раз в эту минуту ее добро грузят на повозки, ибо она тотчас направляется в Париж.

Карл Валуа с видимой досадой выслушал это сообщение; его раздражало, что влияние Бувилля так выросло с тех пор, как он стал хранителем чрева; бывший камергер не покидал королеву ни днем ни ночью, да и сейчас торчал здесь, опираясь на шпагу.

– Мессир Юг, – высокомерно произнес Карл, – вам поручили охранять чрево, а не решать такие важные вопросы, как местопребывание королевской фамилии, и уж тем паче вас не уполномочили защищать единолично все государство.

Бувилля не смутила эта отповедь.

– Разрешите напомнить вам, ваше высочество, – сказал он, – что королева не может показываться на людях раньше сорокового дня после похорон.

– Неужели, дражайший, вы полагаете, что я хуже вас знаю наши обычаи! Откуда вы взяли, что королева должна кому-то показываться? Мы доставим ее в Париж в закрытом возке… И неужели, племянница, – воскликнул он, поворачиваясь к Клеменции, – вы считаете, что я хочу загнать вас на край света, во владения

Великого Хана! Вы же сами знаете, что от Парижа до Венсенна не две тысячи лье!

– Поймите меня, дядюшка, – слабо возразила Клеменция, – Венсеннский замок – последний дар Людовика, здесь мы жили с супругом до его смерти.
Он пожаловал мне это жилище, вы сами присутствовали при этом (она указала на двери покоев, где скончался Людовик X), и выразил волю, дабы я жила здесь… Да и мне все кажется, что он еще не совсем покинул этот замок. Поймите, ведь здесь мы…

Но его высочество Валуа был лишен способности вникать в такие мелочи, как власть воспоминаний и поэзия скорби.

– Ваш супруг, за душу коего мы возносим молитвы, отныне принадлежит к прошлому государства. А вы, племянница, вы носите под сердцем его будущее. Подвергая опасности вашу жизнь, вы подвергаете опасности и жизнь вашего дитяти. Людовик, который смотрит на вас с небес, никогда не простил бы вам этого.

Удар попал прямо в цель, и Клеменция молча поникла в кресле.

Но Бувилль заявил, что вопрос такой важности не может быть решен без участия сира де Жуанвилля, и послал за ним слугу. Присутствующие молча ждали его появления. Наконец дверь открылась, но им снова пришлось ждать. Не сразу появился последний сподвижник Людовика Святого; в длинном одеянии, какое носили еще во времена крестовых походов, он с трудом переступил порог дрожащими, плохо повиновавшимися ногами. Лицо его было все в бурых пятнах и походило на кору векового дуба, выцветшие глаза слезились. Двое конюших, столь же дряхлых, как и их господин, поддерживали его с обеих сторон. Старца усадили с величайшими предосторожностями, и Валуа принялся излагать ему свои проекты насчет местожительства королевы. Сир де Жуанвилль внимательно слушал, сокрушенно покачивал головой, видимо гордясь тем, что его наконец призвали к решению дел государственной важности. Когда же Валуа замолк, сенешаль погрузился в раздумье, которое никто не посмел нарушить; все напряженно ждали, когда с этих старческих уст сорвутся вещие слова. И вдруг старик спросил:

– А где же король?

Валуа досадливо поморщился. Время не терпит, а тут изволь тратить силы на этого старика! Да понял ли сенешаль хоть одно слово из красноречивых доводов Карла?

– Полноте, мессир Жуанвилль, король скончался, – пояснил он, – и нынче утром мы предали его земле. Вы отлично знаете, что вас назначили хранителем чрева…

Сенешаль нахмурил лоб и сделал мучительное усилие, чтобы понять и вспомнить. Такие провалы памяти были для него не в диковинку; диктуя свои знаменитые «Мемуары», восьмидесятилетний старец слово в слово повторял в конце второй части то, что уже было сказано в начале первой…

– Ох, наш государь Людовик… – пробормотал он наконец. – Скончаться таким молодым… Я еще ему преподнес свою знаменитую книгу [1 - Я еще ему преподнес свою знаменитую книгу – В возрасте семидесяти пяти лет сенешаль де Жуанвилль начал свою «Историю святого Людовика» по просьбе королевы Жанны Наваррской, жены Филиппа Красивого, которая хотела иметь книгу о «святых словах и добрых деяниях» короля-крестоносца. Написание заняло у Жуанвилля десяток лет. Королева Жанна за это время умерла, так что свой труд автор посвятил ее сыну, Людовику Наваррскому, будущему Людовику X Сварливому: «Моему доброму государю Людовику, сыну короля Франции», которому и преподнес его, как об этом свидетельствует миниатюра того времени.]. А знаете, я уже четвертого короля хороню.

Эти слова он произнес таким тоном, будто речь шла о личных его заслугах.

– Но ежели король скончался, королева должна стать регентшей, – объявил он.

Валуа побагровел. А он-то старался, чтобы в хранители чрева выбрали этих двух – юродивого и тупицу, надеясь, что ими будет легко вертеть; но тонкий этот расчет обернулся против него самого: именно они и чинят ему препятствия.

– Королева не может быть регентшей, мессир сенешаль, она в тягости! – крикнул Валуа. – Как же она может быть регентшей, если неизвестно еще, родится король или нет?! Взгляните сами, в состоянии ли она править государством!

– Вы же знаете, что я ничего не вижу, – ответил старик.

Прижав ладонь ко лбу, Клеменция думала лишь об одном: «Когда же они кончат препираться? Когда оставят меня в покое?»

А Жуанвилль принялся рассказывать, при каких условиях после смерти короля Людовика VIII королева Бланка Кастильская, к великой радости подданных, взяла на себя бремя управления страной.

– Мадам Бланка Кастильская… конечно, вслух об этом не говорили… не совсем отвечала тому образу беспорочности, каковой создала молва… И говорят даже, что граф Тибо де Шампань, добрый приятель мессира моего отца, служил ей верой и правдой также и на ложе…

Приходилось терпеливо слушать. Если сенешаль сегодня забывал то, что произошло вчера, зато он в мельчайших подробностях помнил то, что ему довелось слышать в детстве. Наконец-то он нашел аудиторию, и он не желал упускать счастливого случая. По-стариковски дрожащими руками он непрерывно разглаживал свое шелковое одеяние, туго натянутое на острых коленях.

– И даже когда наш святой государь отправился в крестовый поход, где вместе с ним был и я…

– Королева в его отсутствие правила Парижем, если не ошибаюсь, – прервал разглагольствования старца Карл Валуа.

– Да, да, – залопотал старик.

Первой сдалась Клеменция.

– Будь по-вашему, дядюшка, – произнесла она, – я покорюсь вашей воле и перееду в Ситэ.

– Мудрое решение, и, надеюсь, мессир де Жуанвилль вполне его одобрит.

– Да… да…

– Сейчас пойду распоряжусь. Ваш поезд будет возглавлять мой сын Филипп и наш кузен Робер Артуа.

– Спасибо, дядюшка, большое спасибо, – проговорила Клеменция, чувствуя, что ее покидают силы. – А сейчас прошу вас, как милости, дайте мне помолиться в одиночестве.

Через час во исполнение приказа графа Валуа мирный Венсеннский замок пробудился ото сна. Из каретных сараев выкатывали повозки; кнуты конюхов прохаживались по мощным крупам коней, взращенных в Перше. Слуги суетливо бегали взад и вперед; лучники, отложив в сторону оружие, взялись помогать конюхам. Впервые после кончины короля люди, говорившие чуть ли не шепотом, обрадовались поводу покричать. Если бы и впрямь какому-нибудь злодею пришла мысль посягнуть на жизнь королевы, вряд ли ему представилась бы более благоприятная минута.

А в самом замке орудовала целая армия обойщиков: снимали со стен гобелены, скатывали ковры, выносили поставцы, столики и кофры. Свита королевы, ее придворные дамы наспех складывали свои пожитки. Первым поездом рассчитывали отправить двадцать карет, но придется сделать не меньше двух ездок, чтобы переправить все это добро.

Клеменция Венгерская в длинном белом одеянии, к которому она еще не привыкла, бродила по покоям замка в сопровождении верного Бувилля. Повсюду пыль, запах пота, суетня, похожая на грабеж, – неизбежные спутники любого переезда. Казначей со списком в руках наблюдал за упаковкой посуды и ценных предметов, которые снесли по его распоряжению в залу и разложили на полу; здесь были блюда, кувшины для воды, дюжина золоченых кубков – дар Людовика Клеменции, а также огромная рака из чистого золота, содержащая частицу Креста Господня, – сооружение столь увесистое, что слуга, кряхтя, сгибался под его тяжестью, словно и впрямь шел на Голгофу.

В покоях королевы главная кастелянша Эделина, бывшая любовница Людовика X, еще до его первого брака с Маргаритой, распоряжалась укладкой носильных вещей.

– К чему… к чему таскать с собой все эти платья, раз все равно мне их никогда не носить! – проговорила Клеменция.

Да и все эти драгоценности, запертые в тяжелые железные лари, эти перстни, эти редчайшие камни, которые щедро дарил ей Людовик в дни их недолгого супружества, и они тоже теперь ни к чему. Даже три короны, усыпанные изумрудами и жемчугом, слишком массивны, слишком роскошны, и не подобает вдове носить их. Отныне единственным ее украшением, да и то по истечении траура, будет гладкий золотой обруч с узором из лилий, надетый поверх белой вуали.

«Вот и я стала белой королевой, как моя бабушка, Мария Венгерская, – подумала Клеменция. – Но бабушке тогда было больше шестидесяти лет, и она дала жизнь тринадцати отпрыскам… А мой супруг так никогда и не увидит своего…»

– Мадам, – обратилась к ней Эделина, – следовать ли мне за вами во дворец? Никаких распоряжений я не получила.

Клеменция взглянула на эту белокурую красавицу, которая, забыв свою ревность, была ей надежным подспорьем все эти последние месяцы и особенно во время агонии Людовика. «Он имел от нее дитя и отнял у нее дочку, заточил ее в монастырь… Неужто и за этот проступок нас карает господь?» Ей казалось, что все злые поступки, совершенные Людовиком до их брака, тяжелым бременем легли ей на плечи и именно ей суждено искупить их ценою своих собственных мук. Впереди у нее целая жизнь, и слезами, молитвой и милостыней она успеет испросить у бога прощение за грехи, отягчавшие душу Людовика.

– Нет, Эделина, нет, – прошептала она. – Не надо следовать за мной. Пусть хоть кто-нибудь, кто его любил, останется здесь.

И после этих слов, отослав даже верного Бувилля, она удалилась в соседние апартаменты, где царило спокойствие, единственные, которые пощадила общая суматоха, в ту самую залу, где скончался ее супруг.

От спущенных занавесей в комнате стоял полумрак. Клеменция преклонила колена у ложа, прижалась губами к парчовому покрывалу.

Вдруг она отчетливо услышала какой-то странный звук, будто кто-то скреб ногтем по ткани. Ее охватил страх, и страх этот показал королеве, что еще не окончательно угасло в ее душе желание жить. Она застыла на месте, боясь

вздохнуть. А где-то позади все слышалось это непонятное царапанье. Клеменция пугливо оглянулась. Это оказался сенешаль де Жуанвилль, которого привели в королевские покои, и здесь, забившись в угол комнаты, он терпеливо ждал отъезда в Париж.

Глава II

Кардинал, не верящий в ад

Июльская ночь начала бледнеть; узенькая серая полоска, прочертившая на востоке небосвод, предвещала близкую зарю, скоро она зальет своим сиянием город Лион.

Был тот час, когда из близлежащих сел тянутся в город повозки с овощами и фруктами, когда смолкает уханье сов, не сменившееся еще чириканьем воробьев, и в этот именно час за узкими окошками парадных покоев аббатства Эне размышлял о смерти кардинал Жак Дюэз.

С юных лет кардинал не испытывал потребности в долгом сне, а с годами и вовсе разучился спать. Ему вполне хватало трех часов сна. После полуночи он подымался с постели и усаживался перед письменным прибором. Человек острого ума, поразительных знаний во всех областях, он писал трактаты по теологии, праву, медицине и алхимии, получившие признание духовенства и ученых мужей того времени.

В ту эпоху, когда любой – будь то последний бедняк или могущественный владыка – мечтал о золоте алхимиков, люди много говорили о трудах кардинала Дюэза, трактующих о создании эликсиров, способных вызвать трансмутацию металлов.

«Для приготовления сего эликсира три вещи потребны, – писал кардинал в своем труде, озаглавленном «Эликсир философов», – и суть они семь металлов, семь элементов и многое прочее… Семь металлов суть солнце, луна, медь, олово, свинец, железо и ртуть; семь элементов суть серебро, сода, аммиачная соль, трехсернистый мышьяк, окись цинка, магнезия, марказит; а прочее – ртуть,

кровь человеческая, кровь из волос и мочи, а моча должна быть тоже человеческая…»

В семьдесят два года кардинал вдруг обнаружил, что остались еще кое-какие области знаний, по поводу коих он не успел высказать своего суждения, и, пока ближние его мирно почивали, творил в ночной тишине. Он один изводил больше свечей, чем вся святая обитель со всеми ее монахами.

Долгими ночами он трудился также над обширной корреспонденцией, которую вел со множеством прелатов, аббатов, легистов, ученых, канцлеров и царствующих особ всей Европы. Секретарь и переписчики Дюэза обнаруживали поутру плоды его ночных бдений, которые они переписывали потом набело весь божий день. Или, изучая гороскоп своих соперников по конклаву, он сравнивал его со своим собственным гороскопом, вопрошая небесные светила, дабы в расположении их прочесть ответ на вопрос, увенчает ли его чело папская тиара. По расположению небесных светил выходило, что наиболее благоприятный срок для того – начало августа и начало сентября нынешнего года. Однако сейчас уже было десятое июня, а туман все еще не рассеялся…

А потом наступал самый мучительный час – час предрассветный. И как бы предчувствуя, что он покинет земную юдоль именно в эти минуты, кардинал испытывал какой-то смутный страх, какое-то томление духа и тела. И чем неодолимей была телесная слабость, тем чаще возвращался он мыслью к совершенным поступкам. Память разворачивала перед ним картины необычной судьбы, его собственной судьбы… Сын башмачника из города Кагора, проживший в безвестности до того возраста, когда большинство его сверстников уже завершали свою карьеру, он, казалось, начал жить только на сорок четвертом году, нежданно-негаданно попав по торговым делам вместе со своим дядей в Неаполь. Путешествие, жизнь на чужбине, открывшая ему Италию, – все это повлияло на Дюэза самым странным образом. Буквально через несколько дней после прибытия в Неаполь он сделался учеником наставника королевских детей и набросился на изучение отвлеченных предметов со страстью, с исступлением, с необычной легкостью усваивая сложнейшие дисциплины и так легко запоминая услышанное, что ему в этом отношении мог бы позавидовать самый одаренный подросток. Он без труда переносил и голод и бессонницу. Ломоть хлеба составлял всю его пищу в течение целого дня, и, если бы его заточили в темницу, он прижился бы и в узилище, при том, конечно, условии, что ему доставляли бы вдоволь книг. Вскоре он сделался

доктором канонического права, затем права гражданского, вслед за чем пришла известность. Королевский двор в Неаполе охотно советовался с клириком из Кагора.

На смену жажде знаний пришла жажда власти. Советник короля Карла II Анжу-Сицилийского (деда королевы Клеменции), затем секретарь тайного совета, обладатель множества церковных бенефиций, он через десять лет после своего прибытия в Италию был назначен епископом Фрежюсским и вскоре стал отправлять обязанности канцлера Неаполитанского королевства, другими словами, стал первым министром государства, включавшего в себя Южную Италию и графство Прованское.

Само собой разумеется, такой сказочный взлет не мог совершиться только благодаря юридическим и богословским талантам епископа Фрежюсского, особенно в той атмосфере интриг, которая царила при Неаполитанском дворе. Один факт, известный лишь немногим – ибо то была церковная тайна, – свидетельствовал, что Дюэз обладает также достаточной долей коварства и хладнокровием, граничащим с наглостью.

Несколько месяцев спустя после смерти Карла II Дюэз был послан со специальной миссией к папскому двору, как раз в то время, когда Авиньонская епархия – наиболее влиятельная во всем христианском мире, ибо там находился святой престол, – пустовала. Будучи канцлером, а следовательно, и хранителем печати, Дюэз не колеблясь написал письмо папе от имени нового неаполитанского короля Робера, в котором тот якобы просил назначить Жака Дюэза в Авиньонскую епархию. Произошло это в 1310 году. Климент V, стремясь обеспечить себе поддержку Неаполя в эти смутные времена, когда отношения папского престола с королем Франции Филиппом Красивым были достаточно натянутыми, не замедлил удовлетворить эту просьбу. Мошенничество Дюэза открылось при личной встрече папы Климента с королем Робером, когда оба не могли скрыть удивления, – первый потому, что его даже не поблагодарили за столь великую милость, а второй потому, что считал это неожиданное назначение чересчур бесцеремонным, поскольку его лишили канцлера. Но было уже поздно. Не желая устраивать бесполезного скандала, король Робер Неаполитанский закрыл глаза на все и предпочел не рвать с человеком, занявшим в церковной иерархии одно из самых высоких мест. Это оказалось всем на руку. Теперь Дюэз был кардиналом курии, и его труды изучали в университетах.

Но как ни удивительна судьба человека, она кажется таковой лишь посторонним, тем, кто смотрит на нее со стороны. Для самого же человека безразлично, прожил ли он жизнь, заполненную до краев, или безнадежно пустую, тревожную или спокойную, – любой минувший день погребен в прошлом, в прошлом, прах и пепел коего одинаково весят на любой ладони.

К чему весь этот пыл, притязания, эта кипучая деятельность, коль скоро все это неизбежно низвергается в Потусторонность, о коей самым высоким умам и самым изощренным наукам не дано знать ничего, кроме невразумительных письмен? Стоит ли жаждать папского престола? А не разумнее ли удалиться в монастырь, отрешившись от земной суеты? Совлечь с себя гордыню знаний, равно как и тщету власти… Обрести смирение самой простодушной веры… готовиться к небытию… Но даже подобные рассуждения становились в голове кардинала Дюэза умозрительными и отвлеченными построениями, а страх смерти превращался в юридический спор с небесами.

«Ученые мужи уверяют нас, – думал он в это утро, – что души праведных после кончины тотчас же удостаиваются блаженного лицезрения господа, что и служит им наградой. Возможно, возможно… Но после светопреставления, когда воскресшие к жизни тела соединятся со своими душами, всех нас ждет Страшный суд. А ведь бог, который само совершенство, не может пересматривать свои собственные приговоры. Не может бог совершить ошибку и изгнать из рая избранных им праведников. Впрочем, не закономерно ли, что душа должна ликовать от созерцания господа лишь в тот момент, когда, соединившись с телом, она сама становится совершенной по своей природе? А раз так… раз так, ученые мужи заблуждаются… А раз так, то не может быть, собственно говоря, ни вечного блаженства, ни созерцания лика божьего раньше светопреставления, и бог даст нам себя лицезреть лишь после Страшного суда. Но где же до тех пор находятся души умерших? Не придется ли нам ждать sub altaro dei[1 - У алтаря господня (лат.).], у того самого алтаря господня, о котором говорит в «Апокалипсисе» святой Иоанн?»

Стук лошадиных копыт – явление необычное в столь ранний час – раздался у стен аббатства; копыта четко цокали по маленьким круглым валунам, которыми были вымощены главные улицы Лиона. Кардинал на миг рассеянно прислушался, затем вновь углубился в свои рассуждения, которые вели к поистине неожиданным выводам.

«…Ибо, если рай пуст, – думал он, – это коренным образом меняет положение тех, кого мы считаем святыми или приснoблаженными… Но то, что верно в отношении душ праведных, так же верно и в отношении душ грешников. Господь бог не будет карать злых раньше, чем вознаградит добрых. Ведь работник получает свою плату лишь в конце дня; точно так же и в конце света доброе семя и плевелы будут окончательно отделены друг от друга. Ни одна душа ныне не обитает в аду, коль скоро она еще не осуждена. Другими словами, ада пока не существует…»

Такое положение вселяет бодрость в тех, кто размышляет о смерти; оно отодвигает час расплаты, не лишая надежды на жизнь вечную, и как нельзя лучше соответствует тому представлению, какое имеет о смерти большинство людей: в их понятии смерть – это падение в беспросветную бездну безмолвия, это полнейшее отсутствие сознания.

Бесспорно, если бы подобная доктрина была публично проповедуема с церковных кафедр, она вызвала бы самый решительный отпор среди ученых мужей церкви и смутила бы бесхитростную веру народа… Да и кандидату на папский престол, пожалуй, негоже утверждать, что рай и ад необитаемы или вовсе не существуют[2 - …негоже утверждать, что рай и ад необитаемы или вовсе не существуют– Избранному Папой в странных обстоятельствах – которые мы лишь облекли в романную форму, но отнюдь не выдумали, – Жаку Дюэзу (Иоанну XXII) предстоит примерно с середины своего понтификата поддерживать в различных проповедях и поучениях свой тезис о блаженном видении.].

«Подождем лучше конца конклава», – решил кардинал.

Ход его мыслей был прерван стуком в дверь – это брат привратник пришел доложить кардиналу о прибытии гонца из Парижа.

– А кем он послан? – осведомился кардинал.

Голос у Дюэза был глухой, тихий, монотонный, но говорил он внятно.

– От графа Бувилля, – пояснил брат привратник. – Должно быть, гнал всю дорогу, потому что сейчас еле на ногах стоит; пока я ходил за ключами и отпирал дверь, он успел задремать, прислонившись лбом к косяку.

– Введите его немедленно.

И кардинал, который всего лишь пять минут назад размышлял о тщете мирских притязаний, подумал без всякого перехода: «А вдруг он послан насчет избрания папы? А вдруг двор Франции сошелся во мнениях и открыто назовет мое имя? Или же мне хотят предложить какую-либо сделку?..»

Он поднялся с места, волнуемый любопытством и надеждами, и зашагал по комнате мелкими быстрыми шажками. Ростом и хрупким телосложением Дюэз напоминал пятнадцатилетнего мальчика, личико у него было крысиное, брови очень густые и совсем седые.

Небо за окнами порозовело; свечи гасить еще было рано, но все-таки это уже рассвет, заря. Зловещий час суток миновал…

Вошел приезжий; с первого же взгляда кардинал определил, что перед ним не обычный гонец. Во-первых, настоящий гонец прежде всего упал бы на колени и вручил ящичек с посланием, а этот остался стоять, правда, преклонив голову, и произнес: «Монсеньор!» И, во-вторых, французский королевский двор обычно отправлял свои послания с дюжими молодцами, как, например, с детиной Робэном Кюис-Мариа, частенько курсировавшим между Парижем и Авиньоном. А перед Дюэзом стоял востроносый юноша, у которого слипались веки и которого даже качало от усталости. «По-моему, не иначе как маскарад… – подумал Дюэз. – Впрочем, я где-то уже видел это лицо».

Маленькой, сухонькой ручкой он разорвал конверт, ломая печати, и сразу же почувствовал разочарование. Речь шла отнюдь не о предстоящем избрании папы, а просто содержала просьбу оказать посланному покровительство. Однако кардиналу хотелось видеть в этом благоприятное предзнаменование; когда Париж нуждается в услуге духовных властей, обращаются все-таки к нему, к Дюэзу.

– Allora, lei и il signore Guccio Baglioni?[2 - Итак, вы синьор Гуччо Бальони? (итал.)] – спросил он, прочитав послание.

Юноша даже вздрогнул, услышав итальянскую речь.

– Да, монсеньор…

– Граф Бувилль рекомендует вас мне, просит взять вас под свое покровительство и защитить от преследования ваших недругов.

– О, если бы вы оказали мне эту милость, монсеньор!

– Похоже, что вы попали в какую-то скверную историю, раз вынуждены были бежать в одежде гонца, – продолжал кардинал глухим, невыразительным голосом. – Расскажите мне, что произошло. Бувилль пишет, что вы находились в свите королевы Клеменции, когда она направлялась во Францию. Ага, припоминаю теперь, там-то я вас и видел… И вы племянник мессира Толомеи, главного капитана парижских ломбардцев. Чудесно, чудесно. Расскажите-ка вашу историю.

Он уселся и стал машинально вертеть вращающийся пюпитр, на котором лежали книги, необходимые для его научных трудов. Сейчас, когда кардинала отпустили ночные страхи, он чувствовал себя спокойным и не прочь был отвлечься чужими делами.

Гуччо Бальони меньше чем за четыре дня проскакал сто двадцать лье и во всем теле чувствовал усталость от бешеной скачки. Ноги ему не повиновались, в голове стоял туман, застилая взор, и он отдал бы все блага мира, лишь бы лечь, растянуться вот здесь, прямо на полу, и спать… спать…

Однако ему удалось стряхнуть с себя сонное оцепенение; ради собственной безопасности, ради своей любви, ради будущего он обязан побороть усталость, продержаться хотя бы еще несколько минут.

– Так вот, монсеньор, я женился на девице знатного рода, – произнес он.

Гуччо показалось, что слова эти произнес не он, а кто-то другой. И вовсе не эти слова собирался он сказать. Ему хотелось объяснить кардиналу, что на него обрушилась неслыханная беда, что он самый несчастный, самый жалкий человек во всей вселенной, что жизнь его в опасности, что он, возможно, навеки разлучен со своей женой, а жизни без нее он не мыслит, что его жену вот-вот заточат в монастырь, что в эту последнюю неделю с ними произошли такие ужасные события, налетевшие с такой жестокой внезапностью, что само время

как бы прервало свой обычный ход, и что он, Гуччо, уже не принадлежит к числу живых… Но вся его трагедия, когда о ней пришлось рассказывать, свелась к коротенькой фразе: «Монсеньор, я женился на девице знатного рода».

– Вот оно в чем дело, – пробормотал Дюэз. – А как ее имя?

– Мари де Крессэ.

– Крессэ, Крессэ… Не слыхал.

– Но мне пришлось венчаться тайком, семья была против нашего брака.

– Потому что вы ломбардец? Так… так… Понятно. Во Франции еще придерживаются отсталых взглядов. В Италии, конечно… Итак, вы хотите добиться расторжения брака?.. Но… но ведь, коль скоро венчание происходило втайне…

– Да нет, монсеньор, я ее люблю, и она меня любит, – проговорил Гуччо. – Но ее семья узнала, что Мари в тягости, и братья бросились за мной в погоню, чуть меня не убили.

– Что ж, они в своем праве, закон, освященный обычаем, на их стороне. В их глазах вы просто соблазнитель… А кто вас венчал?

– Фра Виченцо.

– Фра Виченцо? Не слыхал.

– Хуже всего, монсеньор, что его убили. И я не могу даже доказать, что мы действительно обвенчаны. Не подумайте, монсеньор, что я трус. Я готов был с ними драться. Но дядя обратился к Бувиллю, а он…

– А он благоразумно посоветовал вам скрыться на время.

– Да, но ведь Мари заточат в монастырь! Скажите, монсеньор, вы могли бы ее оттуда вызволить? Скажите, увижу ли я ее вновь?

– Слишком много вопросов за один раз, дражайший сын мой, – ответил кардинал, продолжая вращать пюпитр. – Монастырь? А может статься, ей сейчас лучше побыть в монастыре? Уповайте на безграничное милосердие господне.

Гуччо устало понурил голову. Его черные волосы были щедро припудрены дорожной пылью.

– А ваш дядя имеет дела с Барди? – осведомился кардинал.

– Конечно, монсеньор, конечно. Если не ошибаюсь, Барди – ваши банкиры, – добавил Гуччо только из вежливости, почти машинально.

– Да, они мои банкиры. Но, на мой взгляд, сейчас они не столь… не столь сговорчивы, как в былые времена… А ведь это весьма солидная компания! Повсюду у них есть свои отделения. А при малейшей просьбе им, видите ли, нужно сначала запросить Флоренцию. Словом, они столь же медлительны, как церковный суд… А среди клиентов вашего дядюшки есть прелаты?

Мыслями Гуччо был далек от всех банков мира. В голове сгущался туман, глаза жгло как огнем.

– Нет, большинство наших клиентов высокородные бароны, – ответил он. – Граф Валуа, граф Артуа… Мы были бы весьма польщены, монсеньор…

– Поговорим об этом потом. Сейчас вы находитесь в святой обители, под защитой ее стен. Для всех посторонних вы будете у меня в услужении. Пожалуй, лучше всего нарядить вас в сутану… Я потолкую об этом со своим капелланом. А пока скиньте-ка эту ливрею и почивайте с миром, ибо, по-моему, вам прежде всего необходимо хорошенько отдохнуть.

Гуччо поклонился, пробормотал что-то, желая поблагодарить кардинала, и направился к дверям. Но вдруг он остановился и проговорил:

– Я не могу пока скинуть эту ливрею, монсеньор; я должен передать еще одно поручение.

– Кому? – спросил Дюэз, сразу насторожившись.

– Графу Пуатье.

– Вручите послание мне, а я тотчас же направлю к графу брата служителя…

– Дело в том, монсеньор, что граф Бувилль очень настаивал…

– А не известно ли вам, имеет это послание какое-нибудь отношение к конклаву?

– Нет, монсеньор, оно послано в связи со смертью короля.

Кардинал даже подскочил в своем кресле.

– Как, король Людовик скончался? Но почему же вы до сих пор молчали?

– А разве здесь об этом не знают? Я думал, что вам, монсеньор, это уже известно.

Откровенно говоря, Гуччо вовсе так не думал. Его собственные беды, усталость как-то вытеснили из памяти это важнейшее событие. Он скакал и скакал от самого Парижа, меняя притомившихся лошадей в указанных ему монастырях, перехватывал на ходу кусок хлеба, не пускался ни с кем в разговоры и обогнал, сам того не подозревая, официальных гонцов.

– Отчего он скончался?

– Вот как раз это обстоятельство мессир Бувилль и поручил мне довести до сведения графа Пуатье.

– Злодеяние? – выдохнул шепотом Дюэз.

– Говорят, короля отравили.

Кардинал задумался.

– Это многое может изменить, – пробормотал он. – Регента уже назначили?

– Не знаю, монсеньор. Когда я уезжал, прошел слух, что назначат графа Валуа…

– Что ж, чудесно, дражайший сын мой, идите прилягте.

– Но, монсеньор, а как же быть с графом Пуатье?

Тонкие губы прелата тронула легкая улыбка, которую при желании можно было счесть знаком благоволения.

– Неосторожно было бы с вашей стороны показываться в городе, не говоря уже о том, что вы просто падаете с ног от усталости, – сказал он. – Давайте сюда послание; и дабы вас ни в чем не могли упрекнуть, я сам передам его по адресу.

Несколько минут спустя кардинал курии, сопровождаемый, как требовалось по чину, слугой, несшим факел, и секретарем, покинул Энейское аббатство, находившееся между Роной и Соной, и отважно углубился в мрачные улочки, где приходилось порой шагать прямо по кучам нечистот. Этот семидесятидвухлетний иссохший старец на редкость легко нес свое щуплое тело, поспешая вперед подпрыгивающим шагом. Его пурпурное одеяние плясало, как огонек, среди темных стен.

Колокола двадцати церквей и сорока двух лионских монастырей зазвонили к заутрене. В этом городе, насчитывавшем в ту пору не более двадцати тысяч обитателей, для одной половины которых промыслом была религия, а для другой – религией был промысел, расстояние между любыми пунктами было невелико. Таким образом, кардинал быстро добрался до дома судьи, у которого остановился граф Пуатье.

Глава III

Ворота Лиона

Граф Пуатье заканчивал свой туалет, когда камергер доложил ему о визите кардинала.

Высокий, тощий, длинноносый, с тщательно зачесанными на лоб коротенькими прядями волос, спущенных локонами вдоль щек с нежной и свежей кожей, какая бывает только в двадцать три года, в домашнем платье из темной тафты[3 - …в домашнем платье из темной тафты… – Основные шелковые ткани, использовавшиеся тогда в одежде, были: samit, близкий к нашему атласу, sandal и camocas, весьма похожие на тафту, а также золотые или серебряные материи – тяжелая парча с шелковой основой. Из шерстяных тканей использовали много marbre (мраморных), сотканных из разных цветов, raye (полосатых), camelin, то есть из верблюжьей шерсти или ее имитаций, и особенно ecarlates (пунцовых, алых). Эти последние были самыми роскошными и наиболее ценимыми, в них облачались по торжественным случаям. Наилучшие из них изготовлялись во Фландрии и Англии. Краситель добывали из сушеного червеца-кермеса, маленького насекомого, которое водится в Лангедоке. Были различные оттенки: ярко-алый, розовый, фиолетовый, кроваво-красный.], юный принц пошел навстречу монсеньору Дюэзу и почтительно облобызал его перстень.

Даже при желании трудно было бы найти двух более несхожих, до смешного различных людей, чем эти двое, из коих один напоминал старого хорька, вылезшего из своей норы, а другой – цаплю, величественно шествующую через болото.

– Несмотря на столь ранний час, ваше высочество, – начал кардинал, – я счел за благо не мешкая вознести за вас свои молитвы в постигшей вас утрате.

– Утрате? – повторил Филипп Пуатье, вздрогнув всем телом.

Первая мысль принца была о его супруге Жанне, оставшейся в Париже и ожидавшей через месяц разрешения от бремени.

– Я вижу, что поступил правильно, придя сюда, дабы известить вас о случившемся, – продолжал Дюэз. – Король, ваш брат, скончался пять дней тому назад.

Ничто не выдало чувств Филиппа, разве что судорожно заходила грудь. Ни удивления, ни печали, ни даже нетерпения узнать подробности о смерти брата не отразилось на его лице.

– Я благодарен вам за ваше рвение, монсеньор, – проговорил он. – Но каким образом вам стала известна эта весть… раньше, чем мне?

– Мессир Бувилль срочно прислал гонца, дабы я втайне ото всех вручил вам это послание.

Граф Пуатье сломал печать и по примеру всех близоруких людей, стал читать письмо, уткнувшись носом в пергамент. Но и сейчас ничто не выдало его чувств; окончив чтение, он сложил письмо и молча опустил его в карман.

Молчал и Дюэз с видом притворного сочувствия к горю принца, хотя, по всей видимости, принц не слишком скорбел.

– Да сохранит его господь бог от адских мук, – произнес наконец граф Пуатье, поняв, чего ждет от него прелат со своей постно-благочестивой миной.

– О… ад… – пробормотал Дюэз. – Помолимся вместе творцу за душу покойного! Я сразу подумал о несчастной королеве Клеменции, ведь она выросла на моих глазах, когда я находился при короле Неаполитанском. Такая кроткая, такая прекрасная принцесса…

– Да, я глубоко жалею мою невестку, – отозвался Филипп.

А сам в это время думал: «Людовик не оставил посмертного распоряжения насчет регентства. Если судить по письму Бувилля, наш дядюшка Валуа уже начал действовать…»

– Что вы намереваетесь делать, ваше высочество? Срочно возвратитесь в Париж? – осведомился кардинал.

– Не знаю, сам еще не знаю, – ответил Филипп. – Подожду более подробных известий. Пусть моей особой располагает, как найдет нужным, королевство.

Бувилль в своем письме не скрыл, что приезд графа Пуатье был бы весьма желателен. Место Филиппа Пуатье, брата покойного короля и пэра Франции, – в королевском Совете, где на первом же заседании начались споры по поводу кандидатуры регента.

Но, с другой стороны, мысль о том, что придется покинуть Лион, не доведя до конца начатого дела, была не только огорчительна Филиппу Пуатье, но и просто невыносима.

Прежде всего ему надо было заключить брачный контракт между своей третьей дочерью Изабеллой, которой не исполнилось еще и пяти лет, и вьеннским принцем-дофином, крошкой Гигом, уже достигшим шестилетнего возраста. Для переговоров об этом браке пришлось даже заглянуть в Верхнюю Вьенну к отцу жениха, дофину Иоанну II де ла Тур дю Пэну, женатому на Беатрисе, родной сестре королевы Клеменции. Прекрасный союз, благодаря которому французская корона сможет противостоять влиянию в этих краях Анжу-Сицилийской ветви. Подписание брачного контракта должно было состояться через несколько дней.

И главное, предстоят выборы папы. Вот уже несколько недель Филипп рыскал по всему Провансу, по Верхней Вьенне и окрестностям Лиона, повидался с каждым из двадцати четырех разбежавшихся кто куда кардиналов[4 - …с каждым из двадцати четырех разбежавшихся кто куда кардиналов… – Большинство авторов насчитывает в конклаве 1314–1316 гг. двадцать три кардинала. Мы насчитали двадцать четыре. В «римскую» партию входили шесть итальянцев – Джакопо Колонна, Пьеро Колонна, Наполеоне Орсини, Франческо Каэтани, Джакопо Стефанески-Каэтани, Никколо Альберти (Альбертини) деи Прато; один анжуец из Неаполя – Гийом де Лонжи и, наконец, один испанец – Лука де Флиско (называемый часто Фьески), кровный родственник короля Арагонского. Они стали кардиналами еще до понтификата Клемента V и обоснования пап в Авиньоне и получили свои шляпы между 1278 и 1303 гг., при Николае III, Николае IV, Целестине V, Бонифации VIII и Бенедикте XI. Всех остальных кардиналами сделал Клемент V. «Провансальская» партия включала в себя Гийома де Мандагу, Беранже Фредоля-старшего, Беранже Фредоля-младшего, кагорца Жака Дюэза и нормандцев Никола де Фреовиля и Мишеля дю Бека. Наконец, гасконцы в количестве десяти были: Арно де Пелагрю, Арно де Фужер, Арно Нувель, Арно д’Ок, Реймон-Гийом де Фарж, Бернар де Гарв, Гийом-Пьер Годен, Реймон де Гот, Виталь дю Фур и Гийом Тест.], уверил каждого, что случай, происшедший в Карнантра, не повторится, что к ним не применят более насилия; намекал то одному, то другому кардиналу, что именно у него есть шансы стать папой, взывал послужить делу веры к вящей славе католической церкви, интересам государства. В конце концов с помощью уговоров, неусыпных трудов и золота ему удалось собрать беглых кардиналов в Лионе, в городе, издревле находившемся под властью духовенства, но совсем недавно, в последние годы царствования Филиппа Красивого, перешедшем

во владение французских королей.

Граф Пуатье чувствовал, что дело идет на лад. Но если он уедет в Париж, разве не придется начинать все сызнова, разве не разгорится опять вражда среди кардиналов, люто ненавидевших своих соперников, разве влияние римской знати или Неаполитанского короля не вытеснит здесь влияние французской короны, разве не станут разные партии обвинять друг друга в ереси? А что, если папский престол будет перенесен обратно в Рим? «Отец именно этого и опасался, – думал Филипп Пуатье. – И неужели дело его, которому и без того достаточно повредили Людовик и дядюшка Валуа, погибнет бесславно?»

Кардиналу Дюэзу показалось, что молодой принц совсем забыл о его присутствии. Вдруг Пуатье обратился к нему:

– Будет ли и сейчас гасконская партия поддерживать кандидатуру кардинала Пелагрю? И верите ли вы, что ваши благочестивые коллеги действительно склонны собраться наконец для выбора папы?.. Присядьте, монсеньор, и поведайте мне все ваши соображения на сей счет. В каком положении сейчас дела?

Немало повидал на своем веку старик-кардинал земных владык и правителей, недаром больше трети века он делил с ними заботы по управлению государством. Но ни разу он не встречал подобного самообладания. Вот он только что сообщил двадцатитрехлетнему принцу, что брат его скончался, что французский престол пустует, а принц сидит и разговаривает с таким видом, будто нет у него важнее заботы, чем кардинальские свары.

Усевшись бок о бок у окошка на ларе, покрытом парчой, они завели беседу. Коротенькие ножки кардинала не доставали до пола, а граф Пуатье не спеша покачивал своей тощей длинной ногой.

По словам Дюэза, все вернулось к исходной точке, к тому положению, которое создалось два года назад после кончины папы Климента V.

Гасконская партия, куда входило десять кардиналов, именуемая также партией французской, по-прежнему была наиболее многочисленной, но все же ее сил было недостаточно для того, чтобы образовать без поддержки других партий большинство, поскольку требовалось, чтобы кандидат собрал две трети голосов

священного конклава – другими словами, шестнадцать голосов. Гасконцы, считавшие себя прямыми хранителями заветов покойного папы, который и произвел их в кардиналы, упорно требовали, чтобы папский престол оставался в Авиньоне, и с поразительным единодушием выступали против двух других партий. Но и между ними шел глухой разлад; на папский престол притязал не только Арно де Пелагрю, но и Арно де Фужер, и Арно Нувель. Все трое не скупились на взаимные посулы и старались подставить сопернику ножку.

– В сущности, это борьба трех Арно, – бормотал Дюэз. – А теперь посмотрим, как обстоят дела в итальянской партии.

Итальянцев было всего восемь, причем эта восьмерка разделилась на три группы. Грозный кардинал Каэтани, племянник папы Бонифация VIII, подкапывается под двух кардиналов Колонна, так как между их семьями издревле существует соперничество, превратившееся в лютую ненависть после дела Ананьи и пощечины, которую дал один из Колонна папе Бонифацию. Все прочие итальянцы склоняются то к одному, то к другому сопернику. Так, например, Стефанески, ярый противник политики Филиппа Красивого, держит руку Каэтани, которому, кстати сказать, доводится родней. Наполеон Орсини лавирует. Эта восьмерка согласна лишь в одном пункте: папский престол должен быть возвращен в Вечный город. Тут уж они ни за что не отступятся.

– А знаете, ваше высочество, – продолжал Дюэз, – была минута, когда мог начаться раскол, да и сейчас может… Наши итальянцы отказывались собраться во Франции и недавно дали нам знать, что, ежели будет выбран папа из гасконцев, они его не признают и выберут второго папу у себя в Риме.

– Раскола не будет, – спокойно произнес граф Пуатье.

– Только благодаря вам, ваше высочество, только благодаря вам, мне приятно это сознавать, и я повсюду об этом твержу. Разъезжая по городам и весям, вы, носитель доброго слова, если еще не нашли достойного пастыря, зато хоть собрали воедино стадо.

– Недешево обошлись мне эти овечки, монсеньор! Известно ли вам, что я привез из Парижа шестнадцать тысяч ливров и что на прошлой неделе мне пришлось затребовать еще столько же? Язон по сравнению со мной был просто бедняком. И я порадовался бы, если все это золотое руно сослужило нам хоть какую-то

службу, – добавил граф Пуатье, слегка прищурившись, чтобы лучше разглядеть лицо кардинала.

А кардинал, который сумел окольным путем широко попользоваться щедротами французского двора, отлично понял намек, но предпочел дать уклончивый ответ.

– Думаю, что Наполеон Орсини и Альбертини да Прато, а возможно, даже и Гийом де Лонжи, бывший до меня канцлером Неаполитанского короля, без труда отрекутся от своей партии, – хладнокровно пояснил он. – Только бы избежать раскола, для этого любая цена хороша.

«Значит, он истратил наши деньги на подкуп трех итальянцев, то есть заручился для себя еще тремя голосами. Что ж, ход ловкий», – подумал Филипп.

Что касается Каэтани, то, хотя он по-прежнему держится непримиримо, положение его заметно пошатнулось с тех пор, как была открыта его причастность к ворожбе и его попытка навести порчу на короля Франции и на самого графа Пуатье. Бывший тамплиер, полубезумный Эврар, чьими услугами при сношении с дьяволом пользовался Каэтани, немало порассказал о проделках кардинала, прежде чем отдался в руки королевской страже.

– Это дело я держу про запас, – признался Пуатье. – Запашок костра сумеет в нужную минуту согнуть нашего непримиримого Каэтани.

При мысли о том, что на костер пошлют кардинала, узкие губы старого прелата тронула легкая, тут же угасшая усмешка.

– Говорят, что Франческо Каэтани окончательно отвратился от дел божьих и предался сатане, – добавил Дюэз. – Уж не он ли, видя, что порча не помогла, прибег к помощи яда, дабы отправить вашего брата на тот свет?

Граф Пуатье пожал плечами.

– Всякий раз, когда кончается король, утверждают, что его отравили, – сказал он. – Так говорили о моем деде Людовике Восьмом, так говорили и о моем отце, упокой господи его душу… Мой брат был слаб здоровьем. Но над этим

стоит поразмыслить.

– Наконец, остается, – продолжал Дюэз, – третья партия, которую зовут провансальской, поскольку кардинал Мандгу самый деятельный среди нас…

Эта последняя партия насчитывала всего шесть кардиналов различного происхождения; южане, такие, как братья Беранже Фредоли, мирно уживались с нормандцами, уроженцем Керси, откуда родом был сам Дюэз.

Золото, которым осыпал эту партию Филипп Пуатье, сделало провансальских кардиналов более восприимчивыми к доводам французской политики.

– Нас меньше всех, мы слабее всех, – сказал Дюэз, – но все-таки мы – необходимая опора любого большинства. И коль скоро итальянцы и гасконцы не желают папы из враждебной партии, значит, ваше высочество…

– Значит, придется выбирать папу из вашей… Так я вас понял?

– Думаю, что так, даже уверен, что так. Я твержу об этом со дня смерти папы Климента. Но меня не слушали; полагали, что я хлопочу о себе, ибо мое имя и в самом деле называли, но, заметьте, без моего желания. Однако французский двор никогда не оказывал мне большого доверяя.

– Только потому, монсеньор, что вас, пожалуй, слишком открыто поддерживал двор неаполитанский.

– А если бы меня, ваше высочество, никто не поддерживал, кто бы тогда обо мне позаботился? Поверьте, нет у меня иных чаяний, как добиться порядка в делах христианства, находящихся ныне в плачевном состоянии; тяжелое бремя падет на плечи будущего преемника святого Петра.

Граф Пуатье, сцепив длинные пальцы, поднес их ко лбу и задумался.

– Полагаете ли вы, – начал он, – что итальянцы, если им посулить, что в папы пройдет не представитель гасконцев, согласятся на пребывание святого престола в Авиньоне и что гасконцы, если их уверить, что папский престол останется в Авиньоне, откажутся от своего кандидата и присоединятся к вашей

третьей партии?

В переводе на обычный язык слова эти означали: «Если вы, монсеньор Дюэз, станете при моей поддержке папой, можете ли вы твердо обещать, что теперешнее местопребывание папского престола останется неизменным?»

Дюэз понял все.

– Ваше высочество, – произнес он, – это будет мудрейшее решение.

– Я запомню ваши ценные советы, – сказал Филипп, подымаясь с места и тем давая понять гостю, что аудиенция окончена.

Он пошел проводить кардинала до двери.

В это мгновение Филипп и Дюэз, столь отличные друг от друга возрастом и внешним видом, опытом и родом деятельности, поняли, что оба они одного склада и что между ними может родиться дружба, что они должны трудиться бок о бок, а такие мгновения являются скорее следствием таинственных предначертаний судьбы, нежели плодом долгой беседы.

Когда Филипп нагнулся, чтобы облобызать перстень кардинала, старик шепнул ему:

– Вы, ваше высочество, были бы превосходным регентом.

Филипп распрямил свой длинный стан. «Неужели он догадался, что я думал только об этом?» – спросил он себя.

– А разве из вас, монсеньор, не вышел бы превосходный папа? – ответил он.

И оба невольно улыбнулись друг другу, старик – отцовски-нежной улыбкой, молодой принц – дружелюбно и почтительно.

– Я был бы весьма признателен, если бы вы сохранили в тайне важнейшую весть, сообщенную мне, хотя бы до того времени, пока она не будет возвещена публично.

– Рад служить вам, ваше высочество.

Оставшись один, граф Пуатье остановился в нерешительности, но тут же стряхнул с себя задумчивость и кликнул первого камергера.

– Скажите, Адам Эрон, не прибыл еще из Парижа гонец? – спросил Филипп.

– Нет, ваше высочество.

– В таком случае прикажите закрыть все лионские ворота.

Глава IV

«Осушим слезы наши»

Этим утром жители Лиона остались без свежих овощей. Повозки окрестных огородников задержали у городских ворот, и хозяйки с громкой руганью обходили пустой рынок. Единственный мост через Сону (мост через Рону не был еще наведен) перегородили отрядом стражников. Но если нельзя было попасть в Лион, то в равной мере нельзя было и выйти из Лиона. Торговцы-итальянцы, путники, странствующие монахи толпились у ворот и требовали объяснений, а к ним присоединялись зеваки и бездельники. На все вопросы стражники твердили: «Приказ графа Пуатье» – с важно-снисходительным видом, с каким обычно разговаривают с толпой представители власти, когда им дают поручение, смысл коего не ясен им самим.

– Но у меня в Фурвьере дочка больная лежит…

– Вчера, когда звонили к вечерне, у меня в Сен-Жюсте амбар сгорел…

– Бальи Вильфранка велит меня в тюрьму засадить, если я не принесу ему нынче оброка!.. – кричали из толпы.

– Приказ графа Пуатье!

И когда толпа стала напирать, королевские стражники угрожающе подняли дубинки.

По городу поползли странные слухи.

Одни уверяли, что готовится война. Но с кем? На этот вопрос никто ответить не мог. Другие клялись, что нынче ночью у стен монастыря августинцев произошла кровопролитная стычка между королевскими людьми и сторонниками итальянских кардиналов. Многие слышали конский топот. Называли даже число убитых. Но у августинцев все было мирно и тихо.

Архиепископ Петр Савойский пребывал в состоянии тревоги, он боялся повторения событий 1312 года, когда его силой принудили отречься в пользу архиепископа Санского от Галльского приматства, единственной прерогативы, которую ему удалось сохранить при присоединении Лиона к французской короне[5 - …присоединении Лиона к французской короне. – До середины XII в. городом Лионом владели графы де Форе и де Роанне – под чисто номинальным суверенитетом германского императора. Начиная с 1173 г., когда император признал за архиепископом Лионским, примасом Галлии, суверенные права, Лионне было отделено от Форе, и городом стала управлять церковная власть, имевшая право судить, чеканить монету и собирать войска. Этот режим не нравился сильной коммуне Лиона, состоявшей единственно из буржуа и купцов, которые более века боролись, чтобы освободиться от него. Наконец, после многих неудачных восстаний, они обратились к королю Филиппу Красивому, и тот в 1292 г. взял город под свое покровительство. Через двадцать лет, 10 апреля 1312 г., договор, заключенный между коммуной, архиепископством и королем, окончательно присоединил Лион к французскому королевству. Несмотря на требования Жана де Мариньи, архиепископа Санского, который контролировал и Парижскую епархию, архиепископ Лионский сумел сохранить сан примаса Галльского, единственную прерогативу, которая была за ним оставлена.В конце средних веков в Лионе насчитывалось 24 трактирщика, 32 брадобрея, 48 ткачей, 56 портных, 44 торговца рыбой, 36 мясников, бакалейщиков и колбасников, 57 ловчих (то есть охотников), 36 хлебников и булочников, 25 содержателей постоялых дворов, 15 ювелиров или золотильщиков, 20 суконщиков и 87 нотариусов. Город управлялся коммуной, состоявшей из горожан-коммерсантов, которые назначали каждое 21 декабря двенадцать консулов, всегда из именитых граждан и выбранных из богатых семей; этот корпус назывался синдикальным.Одним из самых старинных консульских родов было семейство Варе, суконщиков и менял.

Тридцать один из ее представителей носил звание консула; некоторые часто переизбирались, один из них даже десять раз. Среди пятидесяти граждан, которых лионцы сделали своими вожаками в 1285 г. для борьбы против архиепископа и за присоединение к Франции, насчитывалось восемь Варе.]. Он послал одного из своих каноников за новостями; но каноника, сунувшегося было к графу Пуатье, выставил за дверь конюший, вежливо, но молча. И архиепископ с минуты на минуту ждал, когда ему пришлют ультиматум.

Среди кардиналов, нашедших себе приют в различных святых обителях, тоже царил страх, доходивший чуть ли не до умопомрачения. А что, если им снова подстроили ловушку, как в Карпантра? Но на сей раз как и куда бежать? Кардинальские посланцы шныряли из одного монастыря в другой, от августинцев к францисканцам и от доминиканцев к картезианцам. Каэтани отрядил своего человека, аббата Пьера, свою правую руку, к Наполеону Орсини, от него – к Альбертини де Прато, оттуда – к Флиско, единственному испанцу среди претендентов на папский престол, и наказал сообщить каждому: «Ну, вот видите, вы позволили соблазнить себя посулами графа Пуатье. Он поклялся нас не притеснять, клялся, что нам для подачи голосов даже не придется входить в ограду, что мы будем свободны. А теперь взял и запер нас в Лионе».

К самому Дюэзу тоже примчались два его коллеги-провансальца – кардинал Мандгу и Беранже Фредоль-старший. Но Дюэз сделал вид, что с головой ушел в свои богословские труды и ничего не ведает. А тем временем в келье, рядом с покоями кардинала, сном праведника спал Гуччо Бальони, даже не подозревавший, что он явился причиной такой паники.

Целый час мессир Варэ, лионский судья, прибывший в сопровождении трех своих коллег от имени городского совета к графу Пуатье потребовать объяснений, топтался в его прихожей.

А сам граф Пуатье заседал при закрытых дверях с приближенными и свитой, сопровождавшей его в поездке.

Наконец чья-то рука раздвинула драпировки, и, окруженный советниками, показался граф Пуатье. На всех лицах застыло торжественное выражение, как обычно в минуты, когда принимаются особо важные государственные решения.

– А, мессир Варэ, вы пришли очень кстати, и вы тоже, мессиры, – проговорил Пуатье, обращаясь к судье и его спутникам. – Таким образом, мы незамедлительно можем вручить вам послание, которое намеревались довести до вашего сведения. Мессир Миль, соблаговолите прочесть.

Миль де Нуайэ, легист, советник Парламента и маршал войска Филиппа Красивого, развернул пергамент и начал читать:

Всем бальи, сенешалям и советам славных городов.

Доводим до вашего сведения о великой печали, каковую причинила нам кончина возлюбленного брата нашего, короля нашего, сира Людовика X, по воле божьей отнятого у верных его подданных. Но натура человеческая создана так, что никто не может продлить отпущенные ему сроки. Посему решили мы осушить слезы наши, вознести вместе с вами молитву Иисусу Христу за душу усопшего короля и верно служить королевству Французскому и королевству Наваррскому, дабы не пострадали их исконные права и дабы подданные сих двух королевств жили счастливо, защищаемые мечом правосудия и мира.

Милостью божьей регент обоих королевств

Филипп.

Когда улеглось первое волнение, мессир Варэ поспешил облобызать руку графа Пуатье, и прочие судьи без колебаний последовали его примеру.

Король умер. Неожиданная весть ошеломила всех до такой степени, что никто не спросил себя, особенно в первые минуты, кто же сменит его на престоле. За отсутствием совершеннолетнего наследника власть по справедливости должна перейти в руки старшего из братьев покойного государя. Лионские судьи ни на минуту не усомнились, что решение это было принято в Париже Палатой пэров.

– Соблаговолите разослать по городу герольдов, чтобы они прочли наше послание, – приказал Филипп Пуатье, – и вслед за тем немедленно откройте все ворота.

Потом он добавил:

– Вы, мессир Варэ, ведете крупную торговлю сукном; я буду вам весьма признателен, если мне доставят двадцать черных плащей; их положат в прихожей, чтобы каждый пришедший выразить мне свою скорбь мог надеть траурное одеяние.

И он отпустил судей.

Так совершились два первых акта взятия власти. Филиппа провозгласили регентом его приближенные, которые благодаря этому превратились в членов государственного Совета. Сейчас его признает город Лион, где он случайно оказался в эти дни. А теперь надо побыстрее распространить весть по всему королевству и поставить Париж перед свершившимся фактом. Важнее всего было выиграть время.

Писцы уже перебеляли послание во множестве экземпляров, а гонцы седлали коней, готовясь отбыть во все французские провинции.

И как только ворота Лиона открыли, гонцы Пуатье отправились в путь и повстречались с тремя гонцами, которых с утра продержали на том берегу Соны. Первый из этих гонцов привез письмо от графа Валуа, он писал уже в новом качестве регента, назначенного королевским Советом, и просил у Филиппа дать свое согласие, дабы назначение возымело силу. «Уверен, что вы захотите помочь мне в моей задаче на благо государства и дадите немедля ваше согласие, как и подобает разумному и возлюбленному племяннику нашему».

Второе послание было от герцога Бургундского, который тоже требовал назначить его регентом при малолетней племяннице – Жанне Наваррской.

И, наконец, граф д'Эвре извещал Филиппа, что, вопреки существующим установлениям, многие пэры Франции отсутствовали на Совете и Карл Валуа, торопясь прибрать власть к рукам, не счел нужным опереться на какой-либо текст закона или на волю соответствующей ассамблеи.

Граф Пуатье сразу же собрал своих приближенных для обсуждения всех этих вопросов. Окружение Филиппа составляли люди, враждебные политике, которую проводили в последние полтора года Людовик Сварливый и Карл Валуа; в числе

их находился коннетабль Франции Гоше де Шатийон, командовавший войсками с 1302 года и так и не простивший Людовику X нелепый «грязевой поход» во Фландрию, который он вынужден был вести прошлым летом. Его зять, Миль де Нуайэ, вполне разделял эти чувства. Легист Рауль де Прель, оказавший столько ценных услуг Железному Королю, пережил после смерти своего господина черные дни, все имущество его конфисковали, повесили лучшего его друга Ангеррана де Мариньи, а самого подвергли «пытке водой», но так и не вырвали у него признаний; после всех этих бед у него осталась хроническая болезнь желудка да изрядная доля злобы против бывшего императора Константинопольского. Своим спасением и возвращением на государственный пост он был обязан графу Пуатье.

Таким образом, вокруг Филиппа создалось нечто вроде оппозиционной партии, состоявшей в основном из уцелевших от расправы главных сановников Филиппа Красивого. Любой из них косо смотрел на притязания графа Валуа и равно не желал, чтобы в государственные дела мешался герцог Бургундский. Все они дружно восхищались быстротой и энергией юного принца и возлагали на него все свои надежды.

Пуатье написал Эду Бургундскому и Карлу Валуа, даже не упомянув о полученных письмах, словно они до него не дошли, и сообщил своим родным, что по естественному праву считает себя регентом и при первой возможности намерен собрать всех пэров Франции, которые и подтвердят его избрание.

В то же самое время он назначил эмиссаров, которые должны были незамедлительно отправиться в важнейшие центры государства и управлять ими от его, Филиппа Пуатье, имени. Множество его рыцарей пустились в путь в тот же день – впоследствии им суждено было именоваться «рыцарями сопровождения», – и в том числе Реньо де Лор, Тома де Марфонтэн и Гийом Куртегез. При себе Филипп оставил Ансо де Жуанвилля, сына знаменитого сенешаля Жуанвилля, а также Анри де Сюлли.

Пока со всех колоколен несся печальный перезвон, Филипп Пуатье вел долгую беседу с Гоше де Шатийоном. Коннетабль Франции по установленному обычаю заседал во всех государственных советах, и в Палате пэров, и в Большом и Малом советах. Филипп просил Гоше отбыть в Париж и представлять его там, а главное, вплоть до его прибытия расстраивать козни Карла Валуа; с другой стороны, присутствие коннетабля в Париже было порукой тому, что наемные солдаты столичного гарнизона, и в частности полк арбалетчиков, будут хранить

верность Филиппу.

Ибо вновь назначенный регент, сначала к великому удивлению, а затем к дружному одобрению своих советников, решил временно не покидать Лиона.

– Мы не можем бросать начатое дело, – пояснил он. – Самое главное сейчас для нашего государства – это иметь папу, и мы станем еще сильнее, если сами посадим его на престол!

Он ускорил также подписание брачного контракта между своей дочкой и принцем-дофином. Казалось, этот брак не имеет ничего общего с выборами папы, и однако Филипп видел между ними непосредственную связь. Союз с дофином Вьеннским, который правил всеми землями к югу от Лиона и под чьим надзором находилась дорога в Италию, был не последним козырем в начатой игре. Кардиналы, если им придет охота снова разбежаться, не найдут себе убежища на землях дофина. Кроме того, помолвка укрепляла позиции регента; дофин, переходя на его сторону, имел все основания хранить Филиппу верность.

Из-за траура контракт был подписан без празднеств и пиров в один из следующих дней.

Одновременно Филипп столковался с самым могущественным здешним бароном, графом де Форэ, кстати, зятем дофина, державшим в своих руках весь правый берег Роны.

Жан де Форэ не раз участвовал в походах во Фландрию, не раз представлял Филиппа Красивого при папском дворе и немало потрудился для присоединения Лиона к Франции. Граф Пуатье, продолжавший отцовскую политику, мог смело рассчитывать на его поддержку.

Шестнадцатого июня граф де Форэ совершил акт весьма впечатляющий. Он принес торжественную присягу Филиппу как первому сеньору Франции, признав таким образом Пуатье носителем королевской власти.

На следующий день граф Бермон де ла Вут, чье ленное владение Пьергурд находилось в Лионском сенешальстве, тоже торжественно присягнул Пуатье, вложив свои руки в руки Филиппа.

К графу де Форэ Филипп обратился с просьбой держать наготове, но и втайне семьсот вооруженных людей. Таким образом, кардиналы шагу не смогут сделать за пределы Лиона.

Но отсюда до избрания папы было еще далеко. Переговоры затягивались. Итальянцы, смекнув, что регенту не терпится поскорее отбыть в Париж, упорно не шли на уступки. «Ничего, сдастся первым», – говорили они. Их ничуть не смущала трагическая неразбериха, губившая дело святой церкви.

Филипп Пуатье десятки раз встречался с Дюэзом, которого он теперь безоговорочно считал не только самым умным деятелем во всем конклаве, но и самым опытным и проницательным человеком, самым изощренным в делах религии, наиболее подходящим главой христианства, особенно в эту смутную годину.

– Ересь, ваше высочество, вновь расцветает повсюду, – тревожно твердил Дюэз своим глухим, надтреснутым голоском. – Да и как может быть иначе, коль скоро сами мы подаем верующим недостойный пример. Дьявол пользуется нашими распрями, дабы повсеместно сеять плевелы. А особенно мощно произрастают они в Тулузской епархии. Это исстари крамольная земля, подверженная дурным мечтаниям. Трудно управлять столь обширной епархией, будущему папе следовало бы разбить ее на пять епископств и каждое вести твердой рукой.

– Что и повлечет за собой образование нескольких новых бенефиций, с которых, само собой разумеется, французская корона будет получать аннаты, – отозвался Филипп. – А это, по-вашему, не вызовет возражений?

– Ничуть.

«Аннатами» называлось право короля получать доходы с любой новой церковной бенефиции в течение первого года ее существования. Отсутствие папы препятствовало образованию новых бенефиций, в силу чего королевская казна Франции переживала тяжелые дни безденежья, не говоря уже о том, что недоимки по церковным налогам почти не поступали, а духовенство, пользуясь смутным временем и тем, что святой престол пустовал, чинило всякие препятствия.

Таким образом, пока Филипп и Дюэз строили планы на будущее – один в качестве регента, другой в качестве кандидата на папский престол, – обоих в равной мере и в первую очередь интересовали финансы.

Королевская казна не только иссякла, но и вошла в долги на много лет вперед, и повинны в этом были восстания феодалов, мятеж во Фландрии, мятеж баронов графства Артуа и «блистательные» финансовые реформы Карла Валуа.

Да и папская казна после двух лет бродячего конклава находилась не в лучшем состоянии; и если кардиналы продавались сильным мира сего за столь высокую плату, то объяснялось это тем, что у большинства из них не было иных средств существования, кроме торговли своими голосами.

– Обложения, ваше высочество, только обложения! – внушал Дюэз молодому регенту. – Обложите штрафом тех, кто сотворил зло, и чем они богаче, тем сильнее наносите им удар. Если у нарушителя законов сто ливров, отберите у него двадцать. Но ежели владеет он тысячью, возьмите у него пятьсот, ежели есть у него сто тысяч – лишите почти всего достояния. Предложение мое содержит три преимущества: первое – поступления в казну возрастут, второе – лишившись благ, человек, преступивший закон, не сможет более совершать злоупотреблений, и, наконец, третье – бедняки, а их большинство, будут на вашей стороне и поверят в вашу справедливость.

Филипп Пуатье улыбнулся.

– То, за что вы так ратуете, монсеньор, вполне разумно и соответствует королевскому правосудию, которое вершит дела светские, – ответил он. – Но я не вижу, как таким путем можно пополнить финансы святой церкви…

– Обложения, обложения, ваше высочество, – повторил Дюэз. – Наложим налог на грешников; сей источник неиссякаем. Человек по натуре своей греховен, но он склонен расплачиваться скорее сердечным раскаянием, нежели кошельком. И он живее восчувствует раскаяние за содеянный проступок, если искупление грехов обойдется ему в кругленькую сумму, и еще подумает, прежде чем согрешить вторично. Тот, кто жаждет, чтобы ему отпустили грехи, пусть платит за их отпущение.

«Что это, шутка?» – подумал Пуатье, который после многочасовых бесед с Дюэзом обнаружил в кардинале курии немалую склонность к парадоксам и даже плутовству.

– А на какие же грехи вы, монсеньор, собираетесь ввести таксу? – спросил он, как будто соглашаясь поддерживать игру.

– Первым делом на те, что совершаются духовными лицами. Постараемся для начала усовершенствовать самих себя, прежде чем браться за усовершенствование ближнего своего. Наша матерь, святая католическая церковь, слишком терпима к различным недостаткам и уродствам. По моему мнению, на духовные должности нельзя назначать калек и убогих. А я ведь сам видел некоего священника, по имени Пьер, который состоит при особе кардинала Каэтани и у которого, представьте себе, на левой руке два больших пальца.

«Легкий, но коварный выпад в адрес нашего старого недруга», – подумал Пуатье.

– Я провел обследование, – продолжал Дюэз. – И выяснилось, что среди духовенства несчетное количество хромых, безруких, евнухов, которые скрывают под сутаной свое увечье, и однако живут они на церковные бенефиции. Изгоним ли мы их из лона святой церкви, обречем ли их на нищету, сами ли толкнем в объятия тулузских еретиков или каких-нибудь иных духовных братств – все равно их недостатки непоправимы. Лучше уж разрешим искупить им свои грехи; а тот, кто сказал искупить, говорит купить.

Старый прелат произнес всю эту тираду самым серьезным тоном. После встречи с убогим отцом Пьером его воображение неудержимо заработало, и бессонными ночами он уже успел создать весьма стройную систему, которую рассчитывал изложить письменно и поднести в дар, как он скромно говорил, будущему папе.

Речь шла о введении святой епитимьи; продавая буллы с отпущением любых грехов, можно будет в короткий срок пополнить папскую казну. Увечные священники тоже смогут получить отпущение грехов, внеся столько-то ливров за отсутствующий палец, вдвойне за отсутствующий глаз и такую же сумму за отсутствующие гениталии. Тот, кто кастрирует себя сам, платит вдвойне. От убожеств телесных Дюэз перешел к убожествам души. Незаконнорожденные,

скрывшие свое происхождение при вступлении в орден, священники, принявшие сан, состоя в браке, вступившие в брак после посвящения или сожительствующие с женщиной вне брака, двоеженцы, а равно кровосмесители и содомиты – для всех предусматривалась плата соответственно совершенному ими греху[6 - …для всех предусматривалась плата соответственно совершенному ими греху. – Римская церковь, вопреки частым утверждениям ее противников, никогда не продавала отпущения грехов. Но она, что совсем другое дело, заставляла платить грешников за буллы, папские грамоты, которыми удостоверялось, что они получили прощение за свой грех. Эти буллы были необходимы в случае публичного проступка или преступления, когда требовалось представить доказательство отпущения греха, чтобы снова быть допущенным к церковным таинствам.Тот же принцип применялся и в гражданском праве: королевские письма о прощении и помиловании требовалось занести в регистры, что служило основанием для взимания платы. Этот обычай восходит еще ко временам франков, даже до их обращения в христианство.Жак Дюэз (Иоанн XXII) своей книгой расценок и учреждением Святой Пенитенцерии (церковного суда) систематизировал и широко распространил этот обычай, поправляя таким образом финансы церкви. К получению этих булл понуждалось не одно только духовенство, выплаты предусматривались и для мирян. Тарифы были рассчитаны в «гро», денежных единицах, равных примерно шести ливрам. Так, отцеубийство, братоубийство или убийство родственника среди мирян оценивалось в пять-шесть гро, так же как кровосмешение, изнасилование девственницы или кража священных предметов. Муж, побивший свою жену или доведший ее до выкидыша, был принужден уплатить шесть гро, и семь, если у супруги были вырваны волосы. Самый тяжкий штраф, двадцать семь гро, грозил за подделку апостолических посланий, то есть подписи Папы. Со временем цены росли, параллельно обесцениванию денег.Но, повторим, речь шла не о покупке отпущения грехов, а только о регистрационном сборе за предоставление подлинных доказательств. Все бесчисленные памфлеты, посвященные этому вопросу, распространявшиеся начиная с Реформации, чтобы дискредитировать Римскую церковь, опирались на это умышленное недоразумение.]. Но особенно высокая плата предусматривалась за отпущение грехов монахиням, распутствующим в стенах или вне стен монастырей с несколькими мужчинами.

– Если введение этой системы, – заявил Дюэз, – в первый же год не даст нам двести тысяч ливров, то пусть меня…

Он чуть было не сказал «пусть меня сожгут», но вовремя спохватился.

А Филипп тем временем думал: «Если его изберут, то мне, слава богу, не придется ломать себе голову над финансовыми делами святого престола».

Но, несмотря на все ухищрения Дюэза и тайную поддержку Филиппа, конклав не сдвинулся с места.

А тем временем из Парижа шли дурные вести. Гоше де Шатийон, объединившись с графом д'Эвре и Маго Артуа, пытался обуздать притязания Карла Валуа. А тот жил во дворце Ситэ и держал при себе королеву Клеменцию чуть ли не заложницей; по собственному разумению вершил он государственные дела, рассылал в провинции приказы, противоречившие тем, которые слал из Лиона Филипп Пуатье. С другой стороны, шестнадцатого июня в Париж прибыл герцог Бургундский требовать признания своих законных прав; он знал, что за ним стоят вассалы его огромного герцогства. Итак, во Франции было одновременно три регента. Такое положение не могло длиться далее, и Гоше умолял Филиппа поскорее вернуться в столицу.

Двадцать седьмого июня, после совета, на котором присутствовали граф де Форэ и граф де ла Вут, молодой принц решил незамедлительно отправиться в путь и приказал своей свите готовиться к отъезду. И тут, вспомнив, что об усопшем его брате не было еще торжественной службы, он повелел, чтобы завтра, до его отъезда, во всех лионских церквах отслужили мессу. Все духовенство, и высшее и низшее, обязано было присутствовать на службе, дабы присоединить свои моления к молитвам регента.

Все кардиналы, и в первую очередь итальянцы, возликовали. Пришлось все-таки Филиппу Пуатье покинуть Лион, не сломив их волю.

– Пытается скрыть свое бегство торжественными мессами! – твердил Каэтани. – А все-таки вынудили его, проклятого, уехать. Надеялся нас прибрать к рукам. Ну так вот, поверьте мне, через месяц, если не раньше, мы возвратимся в Рим.

Глава V

Врата конклава

Кардиналы, как известно, особы высокочтимые, которым мелкая церковная сошка никак не ровня. Поэтому граф Пуатье распорядился, чтобы для заупокойной мессы по усопшему Людовику X кардиналам отвели церковь при монастыре доминиканцев, называемую иначе церковью Святого Иакова[7 - …церковь при монастыре доминиканцев, называемую иначе церковью Святого Иакова… – Братья-проповедники, или доминиканцы, назывались также якобинцами из-за церкви Св. Иакова, предоставленной им в Париже, вокруг которой они устроили свой монастырь. Лионская обитель, где состоялся конклав 1316 г., была построена в 1236 г. на территории за домом тамплиеров. Монастырский ансамбль простирался от современной площади Якобинцев до площади Белькур.], самую роскошную, самую просторную после собора Святого Иоанна, а также и наиболее укрепленную. Кардиналы узрели в этом выборе знак естественного уважения к их сану. И все до одного явились на торжественную церемонию.

Было их только двадцать четыре, и однако же церковь оказалась битком набитой, ибо каждый кардинал привел с собою весь свой клир – капеллана, секретаря, казначея, писцов, пажей, слуг, тех, кто нес, согласно установленному обычаю, за ним шлейф, а перед ним факел; так что меж белых массивных колонн толпилось в общем человек шестьсот.

Пожалуй, редко когда заупокойной мессе внимали с такой явной рассеянностью. Впервые после многих месяцев кардиналы, расселившиеся группками по монастырям, собрались вместе. Многие не встречались почти два года. Они искоса поглядывали друг на друга, наблюдали за соседями, комментировали вслух внешность и жесты соперников.

– Видели, видели? – шептал один другому. – Орсини поклонился Фредолю-младшему… А Стефанески, как вошел, так сразу же заговорил с Мандгу. Неужели они сблизились с провансальцами? Зато Дюэз совсем высох, лицо с кулачок стало. Как он постарел!

И в самом деле, Жак Дюэз, стараясь сдержать свой подпрыгивающий шаг, придававший старику неестественно юную прыть, медленно и степенно продвигался вперед и рассеянно отвечал на поклоны, как и подобает человеку, отрешившемуся от мирских дел.

Гуччо Бальони в новом облачении тоже прибыл сюда вместе с кардинальской свитой. Ему было приказано говорить только по-итальянски и отвечать всем,

что он прибыл в Лион прямо из Сиены.

«Пожалуй, лучше было бы мне, – думал он, – попасть под покровительство графа Пуатье. Ибо я, без сомнения, мог бы вернуться вместе с ним в Париж и навести справки о Мари, о которой я ничего столько дней не слышал. А сейчас я во всем завишу от этой старой лисы, да еще обещал ему достать у дяди денег, и, пока деньги не будут у него в руках, он не намерен заниматься моей судьбой. А дядя, как на грех, не отвечает. И говорят, в Париже смута. Мари, Мари, прелестная моя Мари!.. Вдруг она подумает, что я ее покинул?.. А может быть, она уже возненавидела меня? Что они с ней сделали?»

Ее братья способны на все: заточить Мари в Крессэ, а возможно, и упрятать в какой-нибудь монастырь для кающихся девиц. «Если через неделю я не получу от нее известий, удеру в Париж».

Дюэз то и дело оглядывался через плечо, и лицо его всякий раз принимало настороженное выражение.

– Вы опасаетесь чего-нибудь, монсеньор? – спросил наконец Гуччо.

– Нет, нет, отнюдь, – ответил Дюэз, украдкой посматривая на своих соседей.

Грозный кардинал Каэтани с изможденным лицом, посреди которого торчал длинный горбатый нос, не скрывал своего торжества, и его седые кудри, подобно завиткам белого пламени, упрямо выбивались из-под алой шапки. Катафалк – символ успения Людовика X – вызывал в его памяти восковую фигуру, исколотую булавками, – ту, над которой он совершил ворожбу. Он переглядывался со своими людьми – с отцом Пьером, братом Бостом и своим секретарем Андрие, – так смотрят победители. Его подмывало крикнуть во всеуслышание: «Вот видите, мессиры, что происходит с тем, кто по неосторожности навлек на себя гнев Каэтани, ибо Каэтани были могущественными людьми еще во времена Юлия Цезаря».

Оба брата Колонна с тяжелыми пухлыми подбородками, украшенными посередине ямочкой, казались двумя воинами, вырядившимися прелатами.

Граф Пуатье не пожалел расходов на певчих. Хор в сотню с лишним голосов звучал на славу в сопровождении органа, у которого, не покладая рук,

трудились четыре прислужника, раздувая мехи. Громовая, воистину королевская музыка гулко отдавалась под сводами, сотрясала воздух, оглушала толпу. Мальчики-прислужники могли безнаказанно болтать между собой, а дворяне из кардинальских свит высмеивать вслух своих владык. Невозможно было расслышать даже того, что говорилось в трех шагах, а того, что происходило у входа, и подавно.

Служба закончилась; замолкли орган и хор; створки дверей главного портала были широко распахнуты. Но ни один луч дневного света не проникал в собор.

На мгновение толпа замерла: всем показалось, будто во время заупокойной мессы чудом затмилось солнце; но вдруг кардиналы поняли все, и яростный гул голосов заполнил церковь. Свежая каменная кладка закрыла портал; регент приказал во время мессы замуровать все входы и выходы. Кардиналы очутились на положении пленников.

Тут-то и началось столпотворение: прелаты, каноники, священники, слуги, забыв о чинопочитании и рангах, смешались в кучу и суетливо сновали по храму божьему, как крысы, попавшие в западню. Пажи влезали друг другу на плечи, подтягивались на руках, заглядывали в окна и кричали сверху:

– Собор со всех сторон окружен вооруженными людьми!

– Что с нами будет, что с нами будет? – стонали кардиналы. – Регент коварно обманул нас.

– Так вот почему он угостил нас такой музыкой!

– Но это же прямое посягательство на святую церковь! Что нам делать?!

– Отлучить его! – кричал Каэтани.

– А что, если он возьмет и уморит нас голодом или велит всех перебить?

Воинственные братья Колонна и их свита, вооружившись тяжелыми бронзовыми подсвечниками, скамьями и жезлами для торжественных процессий, готовились дорого продать свою жизнь. И уже итальянцы с гасконцами начали осыпать друг

друга оскорблениями и упреками.

– Нет, это ваша ошибка! – кричали итальянцы. – Почему вы согласились перебраться в Лион? Мы отлично знали, что попадем в ловушку.

– Если бы вы выбрали кого-нибудь из наших, не пришлось бы нам здесь сейчас торчать, – возражали гасконцы. – Это вы во всем виноваты, недостойные христиане!

Еще минута, и обе партии схватились бы врукопашную.

Лишь одна-единственная дверь была замурована не полностью – в ней оставили узкий проход, куда мог протиснуться человек, но из этого узкого отверстия торчал целый лес пик, зажатых железными перчатками. Вдруг пики приподнялись, и граф де Форэ в доспехах, Бермон де ла Вут и несколько закованных в латы людей проникли в церковь. Их встретили градом угроз и грубейшей руганью.

Сложив руки на эфесе шпаги, граф де Форэ спокойно дождался конца бури. Был он человек могучий, смелый, равно нечувствительный как к угрозам, так и к мольбам, а главное, его глубоко возмущало недостойное поведение кардиналов, подававших в течение двух лет худой пример своей пастве; поэтому граф решил любой ценой выполнить распоряжение Филиппа Пуатье. Грубое его лицо было изборождено глубокими морщинами, глаза сурово глядели из-под забрала шлема.

Когда кардиналы и их приспешники наконец осипли от крика, граф де Форэ заговорил; его четкая, размеренная речь отдавалась гулким эхом под сводами церкви.

– Мессиры, я нахожусь здесь по приказу регента Франции и уполномочен сообщить вам, что единственной вашей заботой отныне должно быть избрание папы, а равно довожу до вашего сведения, что ни один из вас не выйдет отсюда, пока папа не будет избран. При каждом кардинале может остаться по одному капеллану, по два дворянина для услуг или – если угодно – по два писца. Это уж выбирайте сами. Все прочие могут покинуть собор.

Гасконцы и провансальцы негодовали не меньше итальянской партии.

– Мошенничество! – вопил кардинал де Пелагрю. – Граф Пуатье поклялся, что нам даже не придется войти в ограду монастыря, и только на этом условии мы согласились собраться в Лионе.

– Устами графа Пуатье, – возразил граф де Форэ, – говорил король Франции. Но короля Франции нет в живых, и теперь вам говорит регент моими устами.

Единодушное негодование охватило всех пленников. Проклятия на трех языках – итальянском, провансальском и французском – сливались в нестройный гул. Кардинал Дюэз без сил рухнул на сиденье в одной из исповедален и даже руку к сердцу приложил, всем видом показывая, что в столь преклонном возрасте нелегко сносить подобные удары, и притворно-сокрушенно бормотал что-то невразумительное, как бы присоединяя свой голос к протестующим крикам кардиналов. Арно д'Ош, кардинал-камерлинг, брюхатый, полнокровный прелат, бросился к графу де Форэ и заявил ему угрожающим тоном:

– Напоминаю вам, мессир, что папу в таких условиях выбирать не положено, ибо вы нарушили устав Григория X, согласно которому конклав должен собираться именно в том городе, где скончался папа.

– Вы там сидели, монсеньоры, в течение двух лет и разбрелись кто куда, не выбрав папы, что, позвольте вам заметить, тоже противоречит уставу. Но ежели вы почему-либо желаете попасть в Карпантра – пожалуйста, мы доставим вас туда в закрытых повозках под надежной охраной.

– Не будем заседать под угрозой насилия!

– Вот поэтому-то, монсеньоры, церковь окружена вооруженной стражей в семьсот человек, которые надежно защищают вас по решению городских властей, дабы обеспечить вам безопасность и дать возможность побыть в уединении… что, кстати сказать, тоже соответствует упомянутому вами уставу. Сир де ла Вут, который, как именитый гражданин Лиона, тоже находится здесь, будет наблюдать за всем. Мессир регент просил также передать вам, что, если в течение трех дней вы не придете к соглашению, вам будет подаваться пища один раз в день, а с девятого дня вас переведут на хлеб и воду, что… опять-таки записано в уставе папы Григория X. И если, наконец, пост не просветит ваш разум, мы прикажем разобрать крышу, и тогда придется вам испытать ярость стихий…

Графа прервал Беранже Фредоль-старший:

– Мессир, таким образом, вы будете повинны в человекоубийстве, ибо многие из нас не вынесут такого режима. Взгляните на монсеньора Дюэза, он уже сейчас еле дышит и нуждается в уходе.

– Верно, ох, ох, верно! – голосом умирающего произнес Дюэз. – Конечно, не вынесу…

– Да бросьте вы с ним разговаривать! – крикнул Каэтани. – Вы же сами видите, что мы попали в руки свирепых и вонючих хищников! Но знайте, мессир: вместо того чтобы выбрать папу, мы отлучим от церкви вас и всех ваших вероломных приспешников.

– Если вы намереваетесь нас отлучить, монсеньор Каэтани, – холодно ответил граф де Форэ, – регент может сообщить конклаву кое-какие сведения о заклинателях и ворожеях, коим место уготовано в геенне огненной…

– При чем тут ворожба! – уже без прежнего запала возразил Каэтани. – Главная наша обязанность – избрать папу.

– Э, монсеньор, мы, как видно, поняли друг друга; соблаговолите-ка приказать ненужным вам людям покинуть храм, ибо съестные припасы будут доставляться в строго ограниченном количестве и лишним ртам еды не хватит.

Кардиналы поняли, что дальнейшее сопротивление бессмысленно и что этого закованного в железные латы сеньора, который недрогнувшим голосом передал им приказ графа Пуатье, не так-то просто согнуть. А позади Жана де Форэ виднелись вооруженные пиками стражники, которые по одному пролезали в незамурованное отверстие и выстраивались в глубине церкви.

– Придется прибегнуть к хитрости, коль скоро мы лишены возможности прибегнуть к силе, – вполголоса сказал Каэтани своим итальянцам. – Сделаем вид, что покорились, раз не можем пока сделать ничего иного.

Каждый кардинал отобрал из своей свиты трех человек, наиболее ему преданных, умеющих дать нужный совет, искушенных в интригах или же таких,

кто мог облегчить телесные страдания владыки в тех тяжелых условиях, в коих ему суждено было очутиться. Каэтани пожелал оставить брата Боста, Андрие и шестипалого Пьера, то есть тех, кто был замешан вместе с ним в ворожбе против Людовика X; он предпочел держать их при себе, боясь отпустить на свободу, где с помощью золота или пыток им могли развязать язык. Братья Колонна остановили выбор на четырех дворянчиках, каждый из которых одним ударом мог оглушить быка. Каноники, писцы, факельщики и шлейфоносцы один за другим исчезали в отверстии, миновав строй вооруженных стражников. Когда они проходили мимо своих владык, те шептали им на ухо последние распоряжения:

– Срочно дайте знать о случившемся моему брату епископу… Напишите от моего имени кузену де Го… Немедленно отправляйтесь в Рим.

Когда Гуччо Бальони пристроился было в хвост уходящих, Жак Дюэз просунул свою иссохшую ручку сквозь решетку исповедальни, где он прикорнул без сил, и схватил итальянца за полу.

– Останьтесь, дитя мое, со мной, – шепнул он, – я уверен, что вы мне пригодитесь.

Дюэз по опыту знал, что деньги имеют немалую власть в любом конклаве; для кардинала было весьма кстати иметь при себе представителя ломбардских банкиров.

Через час в церкви осталось всего девяносто шесть человек, которым предстояло томиться здесь до тех пор, пока двадцать четыре из них не придут к соглашению и не остановят свой выбор на одном. Прежде чем покинуть церковь, стражники внесли внутрь несколько охапок соломы, отныне ей вместе с голым камнем суждено было служить ложем самым могущественным прелатам христианского мира. Принесли также несколько лоханей, чтобы они могли справлять туалет, и несколько глиняных кувшинов с водой, отданных в распоряжение самих кардиналов. Каменщики под зорким оком графа де Форэ замуровали последний проход, оставив в середине крошечное квадратное отверстие, достаточно широкое, чтобы через него прошло блюдо с пищей, но недостаточно широкое для того, чтобы через него мог пролезть человек. Вокруг церкви вновь расставили караульных на расстоянии трех туазов друг от друга и выстроили их двумя рядами: один ряд стоял спиной к стене и наблюдал за городом, другой стоял лицом к церкви и наблюдал за окнами.

В полдень граф Пуатье отбыл в Париж. Вместе со своей свитой он увозил дофина Вьеннского и маленького дофинчика, который так и останется жить при французском дворе, чтобы сдружиться со своей пятилетней невестой.

В тот же час кардиналам подали пищу; а так как день был постный, мяса им не полагалось.

Глава VI

Из Нофля в Сен-Марсель

Ранним июльским утром, еще до рассвета, старший де Крессэ вошел в спальню сестры. Толстяк Жан держал в руке чадившую свечу; при свете ее было заметно, что брат Мари успел умыться, расчесал бороду и надел лучший свой кафтан для верховой езды.

– Вставай, Мари, – сказал он, – сегодня ты уедешь. Мы с Пьером сами тебя отвезем.

Молодая девушка приподнялась на локте.

– Уеду?.. Как так? Уеду сегодня утром?..

Она еще не очнулась от сна и пристально смотрела на брата большими темно-голубыми глазами, стараясь понять, о чем идет речь. Машинальным жестом она откинула назад свои длинные густые шелковистые волосы, отливавшие золотом.

Жан де Крессэ хмуро глядел на красавицу сестру, так, словно сама эта красота тоже была грехом. – Собирай пожитки. Домой ты вернешься не скоро.

– Но куда вы меня везете? – спросила Мари.

– Сама увидишь.

– Но вчера… почему вчера вы мне ничего не сказали?

– Тебе скажешь, а ты снова с нами какую-нибудь шутку сыграешь. Что, разве нет?.. Ну ладно, торопись; выедем пораньше, чтобы наши крестьяне не заметили. Хватит с нас позора, незачем им снова трепать языками на твой счет.

Мари ничего не ответила. Вот уже целый месяц только так обращались с ней домашние, только таким тоном говорили. Она тяжело поднялась с постели: по утрам, особенно в первые минуты, давала себя знать пятимесячная беременность, хотя днем она почти ее не ощущала. При свете свечи, которую оставил ей брат, она стала собираться в дорогу, ополоснула лицо и шею водой, быстро заколола волосы; тут только она заметила, что руки ее дрожат. Куда ее везут? В какой монастырь? Мари надела на шею золотую ладанку, подарок Гуччо, которую, по его уверениям, он получил в дар от королевы Клеменции. «Пока что эта реликвия что-то плохо меня защищала, – подумалось ей. – А может быть, я недостаточно молилась?» Она уложила верхнее платье, несколько нижних платьев, безрукавку и куски полотна для умыванья.

– Наденешь плащ с капюшоном, – бросил Жан, снова появляясь в спальне.

– Но ведь я в нем сгорю! – воскликнула Мари. – Это зимняя одежда.

– Мать требует, чтобы ты ехала с закрытым лицом. Не перечь, пожалуйста, и поторапливайся.

Во дворе младший брат де Крессэ собственноручно седлал лошадей.

Мари отлично знала, что рано или поздно этот день наступит; и хотя сердце ее сжимал тоскливый страх, она не слишком страдала от предстоящей разлуки, больше того, постепенно стала ее желать. Самый неприветливый монастырь, самый строгий устав все же лучше, чем ежедневные уколы и укоры. По крайней мере там она будет наедине со своим горем. По крайней мере ей не придется больше выносить яростных приступов материнского гнева; после всех этих трагических событий мать, которой кровь бросилась в голову, слегла в постель и всякий раз, когда Мари приносила ей целебную настойку, проклинала и оскорбляла дочь. Тогда приходилось срочно вызывать из Нофля цирюльника, чтобы он отворил кровь тучной владелице замка. Таким образом, за две недели

у мадам Элиабель выпустили не меньше шести пинт дурной крови, но даже при этих энергичных мерах вряд ли можно было надеяться, что к ней полностью вернется здоровье.

Оба брата, а особенно старший, Жан, обращались с Мари как с преступницей. Ох, уж лучше любой монастырь, в тысячу раз лучше! Одно страшно, сможет ли дойти в святую обитель весть о Гуччо и когда? Вот эта-то мысль доводила ее до умопомрачения, лишь поэтому она страшилась своей участи. Злые ее братья уверяли, что Гуччо бежал за пределы Франции.

«Они скрывают от меня, – думала Мари, – но они, наверное, запрятали его в темницу. Невозможно, немыслимо, чтобы он меня бросил! Должно быть, он вернулся в наши края, чтобы меня спасти; вот поэтому они так торопятся меня увезти, а потом убьют его. Ах, почему я не согласилась убежать с ним! Я не желала слушать доводов Гуччо, боялась оскорбить мать и братьев, и вот за то, что я хотела сделать им добро, они отплатили мне злом!»

В ее воображении рисовались картины одна другой страшнее. Минутами ей хотелось, чтобы Гуччо действительно убежал в Италию, оставив ее на произвол злой судьбы. И нет никого, чтобы спросить совета, нет никого, кто бы утешил ее в горе. Одно утешение – это дитя, что она носит под сердцем; но, откровенно говоря, крохотное существо было ничтожно малым подспорьем, хоть и вселяло мужество в душу Мари.

Когда наступил час отъезда, Мари де Крессэ спросила братьев, может ли она попрощаться с матерью. Пьер молча поднялся в материнскую спальню, но оттуда донесся такой истошный крик – видно, частые кровопускания не оказали воздействия на голосовые связки мадам Элиабель, – что Мари сразу поняла всю бессмысленность своей просьбы. Пьер вышел из спальни матери с грустным лицом и беспомощно развел руками.

– Она говорит, что у нее нет дочери, – пояснил он.

И Мари снова подумала: «Лучше бы я убежала с Гуччо. Сама во всем виновата; я обязана была последовать за ним».

Братья вскочили на коней, и Жан де Крессэ посадил сестру позади себя на круп своей лошади, которая была все же получше, вернее, менее заморенная,

чем у Пьера. Пьер восседал на запаленной кобыле, которая при каждом шаге тяжело выпускала из ноздрей воздух с таким шумом, словно по железу водили напильником; именно на этом одре в прошлом месяце братья де Крессэ совершили торжественный въезд в столицу.

Мари бросила прощальный взгляд на маленький замок, который не покидала со дня рождения и который сейчас, в первых, еще нежных проблесках зари, вставал перед ней в сероватой дымке, будто уже из прошлого. С тех пор как она помнит себя, каждое мгновение ее жизни проходило в этих стенах, на фоне этого пейзажа; ее детские игры, чудесное открытие самой себя и окружающего мира, который день за днем каждый творит как бы заново. Неистощимое разнообразие луговых трав, удивительные венчики цветов и чудесная пыльца на самом их донышке, мягчайший пушок на брюшке утенка, переливы солнечных лучей на крылышке стрекозы… Здесь оставляла она все пережитые часы, те часы, когда впервые заметила, что взрослеет, когда впервые прислушалась к голосу грез, когда зорко подмечала все изменения своего лица, множество раз отраженного прозрачными водами Модры. Здесь она испытала то великое, почти ослепляющее чувство жизни, приходившее в те минуты, когда она ложилась навзничь на луг и смотрела в небо, видя в форме облаков таинственные предзнаменования, надеясь узреть господа бога в глубине сверкающей лазури. Она проехала мимо часовни, где под каменной плитой покоился прах ее отца и где итальянский монах тайно обвенчал ее с Гуччо.

– Надвинь пониже капюшон! – приказал старший брат Жан.

Как только они перебрались вброд через речку, он подстегнул лошадь, и вслед за ними поскакала кобыла Пьера, шумно выдыхая воздух.

– А не слишком ли ты быстро скачешь? – сказал Пьер, движением головы указывая на сестру.

– Ничего, дурное семя – оно цепкое, – отозвался старший брат, очевидно желая в глубине души, чтобы с Мари стряслась беда.

Но напрасны были его надежды. Здоровая и крепкая Мари была создана для материнства. Переезд в десять лье, отделявший Нофль от Парижа, она перенесла без всякого для себя ущерба. Правда, ныла поясница, Мари задыхалась от жары, но ни разу она даже не охнула. Из-под низко надвинутого

на лоб капюшона она не могла разглядеть Париж, видела только мостовые, нижние этажи домов да людей без головы. Сколько ног! Какая обувь! С огромной радостью скинула бы она капюшон, но не смела. Больше всего ее поразил шум, невнятное мощное гудение столицы, крики глашатаев, продавцов, торгующих всякой снедью, разнообразный шум мастерских. На иных перекрестках толпилось столько народу, что лошади с трудом пробирались вперед. Прохожие задевали ноги Мари. Наконец они остановились. Брат ссадил на землю измученную, запыленную Мари. Ей разрешили откинуть капюшон плаща.

– А где мы? – спросила она, с удивлением оглядывая двор и красивый дом.

– У дядюшки твоего ломбардца, – пояснил Жан де Крессэ.

А через несколько минут мессир Толомеи, по привычке прищурив левый глаз и широко открыв правый, рассматривал троих отпрысков покойного сира де Крессэ, сидевших перед ним рядком, – бородача Жана, безусого Пьера и их сестру, пристроившуюся чуть поодаль и не поднимавшую опущенной головы.

– Значит, понимаете, мессир Толомеи, – начал Жан, – вы дали нам обещание…

– Как же, помню, помню, – подтвердил Толомеи. – И я сдержу свое слово, друзья мои, не сомневайтесь.

– Но, понимаете, нам пришлось действовать быстрее. Значит, понимаете, сестре после всего позора и шума у нас не жить. Значит, понимаете, мы даже к соседям заглянуть не смеем, мужики и те нам вслед смеются, а когда грех, так сказать, слишком уж округлится, нам и вовсе проходу не будет.

На языке у Толомеи вертелся ответ: «Но, сынки, вы сами подняли весь этот шум! Никто вас не заставлял бросаться как одержимые на Гуччо, подняв на ноги весь стольный град Нофль, и тем самым извещать людей о своем позоре без помощи глашатаев».

– И понимаете, наша матушка от горя совсем занемогла, прокляла дочь, и держать Мари дома, значит, никак нельзя, мы боимся, что матушка отдаст богу душу от гнева. Значит, понимаете…

«…Этот негодяй, как и все, кто требует, чтобы их «понимали», должно быть, просто болван. Ничего, поболтает и перестанет! Но я-то отлично понимаю теперь, – думал банкир, – почему мой Гуччо наделал столько безумств ради этой красотки. Прежде я его во всем обвинял, но, когда она вошла, я сразу сдался: и если бы в мои годы такое было возможно, я тоже потерял бы из-за нее голову. Прелестные глазки, прелестные волосы, прелестная кожа… Настоящая весенняя ягодка! И, по-видимому, мужественно переносит свою беду, а эти-то два дурня орут так, как будто их самих лишили невинности! Но для бедной этой девчурки даже самое страшное горе обернулось благом! У нее добрая душа, это сразу видно. Какая жалость, что она родилась под одним кровом с этими двумя глупцами, и как бы я радовался, если бы Гуччо мог обвенчаться с нею открыто, если бы она жила здесь и краса ее стала бы утехой моей старости».

Толомеи не спускал с Мари глаз. А Мари, вскинув на него взгляд, тут же потупилась, потом снова с тревогой посмотрела ему в лицо. Что подумает о ней дядя Гуччо, почему он так настойчиво за ней наблюдает?

– Значит, понимаете, мессир, ваш племянник…

– Ох, не говорите мне о нем, я от него отрекся, лишил его наследства! Если бы он не удрал в Италию, я бы убил его собственными руками. Если бы я знал, где он сейчас скрывается… – Толомеи сокрушенно склонил голову на руки.

И тут из-под ладоней, приставленных ко лбу щитком, он незаметно для братьев Крессэ, но так, чтобы видела Мари, дважды приоткрыл свой глаз, обычно скрытый мясистым веком. Мари сразу догадалась, что нашла в лице банкира союзника, и не могла удержать вздоха облегчения. Гуччо жив, Гуччо находится в надежном месте, и дядя знает, где он. Что по сравнению с этой радостной вестью все монастыри мира!

Мари перестала слушать разглагольствования Жана. Впрочем, и не слушая, она знала, о чем он говорит. Пьер де Крессэ молчал, и на его усталом лице застыло какое-то нерешительное выражение. Он упрекал себя за то, что тоже поддался гневному порыву, но не смел высказать свои мысли. И он не прерывал старшего брата, который собственными речами старался убедить себя, что действовал правильно, не прерывал его рассуждений о голубой крови и рыцарской чести, дабы хоть этим оправдать их неслыханно глупый поступок.

Когда после своего маленького, жалкого, полуразвалившегося замка, после их двора, где летом и зимой воняло навозом, братья Крессэ увидели королевское жилище Толомеи, парчу, серебряные вазы, когда почувствовали под пальцами тонкую резьбу подлокотников и вдохнули воздух богатства, изобилия, веявший во всем этом доме, они вынуждены были признать, что сестре их жилось бы не так уж плохо, если бы домашние разрешили ей поступить по велению сердца. Младший брат испытывал искренние угрызения совести. «Хоть она одна из всей семьи жила бы в достатке, да и нам было бы хорошо», – твердил про себя Пьер. Но бородатый Жан, человек ограниченный, все больше распалялся злобой и довольно-таки низменным чувством зависти. «Почему ей, грешнице, должно достаться все это богатство, а мы вынуждены влачить нищенское существование?»

Даже Мари не осталась равнодушной к этой роскоши, которая обступала ее, ослепляла, и она еще сильнее почувствовала свое горе.

«Ах, если бы Гуччо был хоть скромным дворянином, – думала она, – или если бы у нас не было дворянства! Да и что значит рыцарство? Неужели же это такая важность, чтоб из-за него столько страдать? И разве богатство не есть тоже своего рода знатность? Такая ли уж большая разница – пользоваться плодами труда сервов или плодами денежных операций?»

– Не беспокойтесь ни о чем, друзья мои, – проговорил наконец Толомеи, – и во всем положитесь на меня. Такова, видно, доля всех дядюшек – исправлять ошибки, содеянные дурными племянниками. Благодаря моим высокородным друзьям я добился разрешения поместить вашу сестру в Сен-Марсель – королевский монастырь для девиц. Ну как, довольны?

Братья Крессэ переглянулись и одобрительно закивали головой. Монастырь Святой Клариссы, что в предместье Сен-Марсель, пользовался самой лучшей репутацией среди всех прочих женских обителей. Туда, как правило, допускали лишь отпрысков знатных семей. И здесь иной раз под белой вуалью скрывалась незаконная дочь кого-нибудь из членов королевской фамилии. Злоба Жана де Крессэ утихла – его дворянское тщеславие было удовлетворено. И, желая показать, что они, Крессэ, вполне достойны этой чести, несмотря на грехопадение их сестрицы, он поспешно добавил:

– Вот это отменно хорошо. Кстати, тамошняя настоятельница, если не ошибаюсь, нам сродни; матушка неоднократно об этом говорила.

– Значит, все устроилось как нельзя лучше, – произнес Толомеи. – Я сейчас отведу вашу сестрицу к мессиру Югу де Бувиллю, бывшему первому камергеру…

Братья, как по команде, слегка склонили головы в знак уважения к столь высокой персоне.

– От него-то я и добился этой милости, – продолжал Толомеи, – и сегодня же вечером, обещаю вам, она будет в монастыре. Поэтому отправляйтесь с миром восвояси; я буду сообщать вам все новости.

Братьям только это и требовалось. Им удалось отвязаться от сестрицы, переложив заботы о ней на чужие плечи; причем оба считали, что выполнили свой долг. Молчание святой обители поглотит эту драму, и отныне в Крессэ не нужно будет говорить о ней шепотом, да и вообще можно будет не говорить об этом.

– Да хранит тебя господь и да направит на путь раскаяния, – сказал Жан сестре и больше ничего не добавил перед долгой разлукой.

Гораздо горячее попрощался он с банкиром и поблагодарил за все заботы. Еще немного, и он накинулся бы на Мари с упреками – зачем, мол, она причинила столько хлопот такому превосходному человеку.

– Да хранит тебя господь, Мари, – взволнованно произнес Пьер.

Он потянулся было поцеловать сестру, но под суровым взглядом старшего брага смущенно отступил назад. А Мари, оставшись наедине с Толомеи, дивилась, что этот смуглолицый толстяк-банкир с чувственным ртом и зажмуренным глазом вдруг оказался ей дядей.

Братья Крессэ выехали со двора, и скоро утих вдали храп запаленной кобылы – последний отзвук родного Крессэ, уже отходившего вдаль.

– А теперь идемте к столу, дитя мое. За едой слез не льют, – сказал Толомеи.

Он помог своей молодой гостье снять плащ, под тяжестью которого она буквально задыхалась; Мари кинула на него удивленно-признательный взгляд,

ибо за долгие недели унижений уже успела отвыкнуть не только от знаков внимания, но даже и от простой вежливости.

«Гляди-ка, материя-то моя», – подумал Толомеи, разглядывая платье Мари.

Ломбардец был не только банкиром, он вел также торговлю с Востоком; рагу, куда он изящно запускал всю пятерню, мясо, от которого он деликатно отрывал кусочки, обчищая кости, – все было пропитано пряными, возбуждающими аппетит запахами. Но Мари еле притрагивалась к пище и отведала лишь первую перемену.

– Он в Лионе, – вдруг проговорил Толомеи, подымая левое, обычно опущенное веко. – Сейчас он не может оттуда выехать, но думает он о вас и в вас верит.

– Он не в тюрьме? – спросила Мари.

– Как бы вам сказать, не совсем… Правда, он находится в заключении, но отнюдь не в связи с вашим делом, а разделяет заточение со столь высокими лицами, что опасаться за него не следует; по всему видно, что он благополучно выйдет из церкви и заключение только придаст ему весу.

– Из церкви? – удивленно переспросила Мари.

– Больше я ничего не имею права вам сообщить.

Но Мари и не настаивала. Гуччо заперт в какой-то церкви вместе с какими-то столь важными особами, что даже имени их назвать нельзя… Эта тайна не умещалась в ее головке. Но в жизни Гуччо уже случались всякие загадочные события, и именно таинственность, окружавшая его, была, пожалуй, одной из причин ее восхищения любимым. В первый раз, когда они встретились, разве не попал он в их Нофль прямо из Англии, куда ездил с поручением к королеве Изабелле? Разве дважды не отлучался он на долгий срок в Неаполь, куда его посылали к королеве Клеменции, и она даже подарила Гуччо ладанку с частицей тела Иоанна Крестителя, надетую у Мари на шее! «Непременно назову своего ребенка Иоанном или Иоанной». Если Гуччо находится сейчас в заключении, то это, должно быть, тоже из-за какой-нибудь королевы. Мари радовалась, что Гуччо, вращаясь среди могущественных принцесс и королев, по-прежнему предпочитает ее, деревенскую простушку. Гуччо жив, Гуччо ее любит, а больше

ей ничего и не требовалось, чтобы вновь почувствовать радость жизни, и поэтому Мари принялась за еду со здоровым аппетитом восемнадцатилетней женщины, еще до рассвета пустившейся в дорогу.

Но если Толомеи умел легко и непринужденно беседовать с самыми знатными баронами и пэрами Франции, с прославленными легистами и архиепископами, он уже давно отвык говорить с женщинами, особенно с такими молоденькими. Поэтому разговор не вязался. Старый банкир с восторгом глядел на свою новоявленную племянницу, которая свалилась к нему как снег на голову и которая с каждой минутой нравилась ему все больше и больше.

«Какая жалость, – думал он, – что приходится отправлять ее в монастырь! Если бы Гуччо не находился в заключении вместе с конклавом, я переправил бы это прелестное дитя к нему в Лион; но что она будет делать там одна, без помощи и поддержки? А ведь, судя по тому, как идут дела, кардиналы не склонны сдаваться без боя!.. А может быть, оставить ее здесь, при себе, и ждать возвращения Гуччо? Это, пожалуй, было бы мне еще приятнее. Но нет, нельзя: я ведь просил Бувилля о милости; как же я покажусь теперь ему на глаза, отказавшись от его услуг? А что, если настоятельница действительно сродни де Крессэ и этим болванам придет в голову осведомиться у нее о сестре!.. Нет, нет, пусть хоть я в этом деле не потеряю головы по примеру Гуччо. Отправлю ее в монастырь…»

– …но не на всю жизнь, – произнес он вслух. – И речи не может идти о вашем пострижении. Согласитесь на временное пребывание в обители и постарайтесь не грустить; а когда родится ребенок, обещаю, что сам устрою ваши дела и вы будете жить счастливо с моим племянником.

Мари схватила руку банкира и поднесла ее к губам; старик ломбардец почувствовал смущение; доброта не входила в число его добродетелей, да и по самому характеру своих занятий он не привык к подобным проявлениям благодарности.

– А теперь пора передать вас на руки графа Бувилля, – произнес он.

От Ломбардской улицы до дворца Ситэ рукой подать. Мари, шедшая рядом с Толомеи, проделала этот путь в состоянии восторженного изумления. Она впервые попала в большой город. Толпы людей под ярким июльским

солнцем, красота зданий, множество лавок, сверкающие витрины ювелиров – все это показалось ей какой-то прекрасной феерией. «Какое счастье, просто счастье, – думала она, – жить здесь, и какой чудесный человек дядя моего Гуччо, и как хорошо, что он покровительствует нам! О да, я без слова жалобы перенесу свое заточение в монастыре!» Они прошли через Мост менял и углубились в Торговую галерею, забитую лотками с товарами.

Только ради удовольствия услышать еще раз слова благодарности и увидеть улыбку Мари, открывавшую белоснежные зубки, Толомеи не удержался и купил ей суму на пояс, расшитую мелким жемчугом.

– Это от имени Гуччо. Теперь я его вам заменяю, – пояснил он, прикинув в уме, что зря не обратился к оптовому торговцу, у которого смог бы приобрести подарок за полцены.

Наконец они поднялись по широкой лестнице во дворец. Итак, только потому, что Мари согрешила с юным ломбардцем, она смогла проникнуть в королевское жилище, куда даже помыслить не смели попасть ее отец и братья, несмотря на свое рыцарство, насчитывавшее уже триста лет, и на услуги, оказанные ими королям на поле брани.

Во дворце царил тот особый беспорядок, когда каждый изображает из себя важную персону, та лихорадочная суета, которая немедленно начиналась там, где появлялся Карл Валуа. Пройдя по бесчисленным галереям, коридорам и анфиладам (причем Мари чувствовала, что с каждым шагом словно уменьшается в росте), Толомеи и его спутница достигли наиболее уединенной части дворца, расположенной позади часовни Сент-Шапель и выходившей на Сену и на Еврейский остров. Страж из дворян в воинских доспехах преградил им путь. Ни одна живая душа не смела проникнуть в покой королевы Клеменции без разрешения хранителей чрева. Пока слуги разыскивали графа де Бувилля, Толомеи и Мари отошли к окну.

– Вот, посмотрите, здесь сожгли тамплиеров, – пояснил Толомеи, указывая на остров.

Наконец появился толстяк Бувилль, тоже в полном воинском снаряжении, и решительным шагом, словно шел на штурм крепости, направился к посетителям; под тонкой сталью кольчуги подрагивало его объемистое

брюшко. Движением руки он отстранил стража. Толомеи и Мари прошли сначала через комнату, где, сидя в кресле, мирно дремал сир де Жуанвилль. Двое его конюших тут же в сосредоточенном молчании играли в шахматы. Затем Бувилль ввел посетителей в свои собственные покои.

– Оправилась ли мадам Клеменция от своего горя? – спросил Толомеи у Бувилля.

– Плачет она теперь не так часто, – ответил толстяк, – вернее, не показывает нам своих слез, старается их удержать. Но она по-прежнему сражена смертью государя. Да и здешняя жара ей вредна, у нее то и дело бывают головокружения и обмороки.

«Значит, королева Франции здесь, совсем рядом, – думала Мари со жгучим любопытством. – А вдруг меня ей представят? Осмелюсь ли заговорить с ней о Гуччо?»

Ей пришлось присутствовать при бесконечно долгой беседе – из которой, впрочем, она не поняла ни слова, – между банкиром и бывшим камергером Филиппа Красивого. Называя какие-то имена, оба понижали голос, а то и отходили в сторону, и Мари старалась не прислушиваться к их шепоту.

Граф Пуатье должен был приехать завтра из Лиона. И теперь Бувилль, так страстно ждавший его возвращения, уже и сам не знал, к добру ли это или нет. Ибо его высочество Валуа решил немедленно отправиться навстречу Филиппу вместе с графом де ла Маршем; и Бувилль, подведя банкира к окну, указал ему на двор, где шли спешные приготовления к отъезду. С другой стороны, герцог Бургундский, обосновавшийся в Париже, приставил стражу из собственных дворян к своей племяннице, крошке Жанне Наваррской. Королевская казна окончательно опустела. Недобрый ветер мятежа реет над столицей, и борьба за регентство грозит страшными бедами. По мнению Бувилля, следовало бы назначить матерью-регентшей королеву Клеменцию, а ей придать королевский Совет в составе Валуа, Пуатье и герцога Бургундского.

Хотя Толомеи слушал с интересом рассказ Бувилля о дворцовых интригах, он все же не раз пытался прервать его сетования и заговорить о цели своего визита.

– Конечно, конечно, мы позаботимся об этой девице, – рассеянно отвечал Бувилль и тут же снова заводил речь о политике.

Получает ли Толомеи сведения из Лиона? Камергер дружески взял банкира за плечо и зашептал ему что-то прямо в ухо. Как? Гуччо заперли вместе с Дюэзом и всем конклавом? Ну и ловкий малый! А как полагает Толомеи, можно ли сообщаться с его племянником? Если ему удастся получить от него весточку или представится случай передать ему записку, пусть немедленно даст знать; Гуччо послужит им в качестве весьма ценного посредника. А что касается Мари…

– Конечно, конечно, – продолжал Бувилль. – Моя супруга – особа весьма умная и деятельная, она уже устроила все как нельзя лучше. Так что не тревожьтесь.

Кликнули мадам Бувилль, невысокую худенькую даму с властными манерами и личиком, изрезанным продольными морщинами; ее сухонькие ручки постоянно находились в движении. В обществе двух толстяков – Толомеи и Бувилля – Мари чувствовала себя под надежной защитой, а теперь ее сразу охватила тревога и какая-то неловкость.

– Ах, значит, это вы должны скрыть свой грех! – проговорила мадам Бувилль, окинув гостью недоброжелательным взглядом. – Вас ждут в монастыре. Настоятельница не особенно охотно пошла нам навстречу, а когда узнала ваше имя, то просто возмутилась, потому что, оказывается, состоит с вами в родстве и, конечно, не может одобрить вашего поведения. Но, в конце концов, положение моего супруга при дворе сыграло свою роль. Пришлось мне немножко с ней повздорить, и все уладилось. Вас примут в монастырь. Я сама отвезу вас туда к вечеру.

Говорила она быстро, и прервать ее было нелегко. Когда она остановилась, чтобы перевести дух, Мари ответила ей почтительно, но с достоинством:

– Мадам, я не согрешила, ибо я обвенчана перед господом богом.

– Ладно, ладно, – прервала ее мадам Бувилль, – не вынуждайте меня жалеть о том, что мы для вас сделали. Поблагодарите лучше тех, кто вам помог, чем хвастаться своими добродетелями.

Тут Толомеи поторопился поблагодарить супругу Бувилля от имени Мари. Когда же Мари увидела, что банкир направился к двери, ее охватило такое отчаяние, такая растерянность, она почувствовала себя такой одинокой, что, не помня себя, бросилась к Толомеи, словно к родному отцу.

– Сообщайте мне о судьбе Гуччо, – шепнула она ему, – и передайте ему, что я томлюсь без него.

Толомеи ушел, а вслед за ним исчезли и супруги Бувилль. Все послеобеденное время Мари просидела в их приемной, не смея шелохнуться, и только поглядывала в открытое окно на двор, где готовился к отъезду Карл Валуа со свитой. Это зрелище на время отвлекло Мари от ее собственных бед. Никогда еще она не видела таких прекрасных коней, такой прекрасной сбруи, такой прекрасной одежды, и притом в таком множестве. Она вспомнила крестьян из Крессэ, одетых в лохмотья, с тряпичными обмотками на ногах, и ей впервые пришла в голову мысль, что мир устроен весьма странно, раз одинаковые существа об одной голове и двух руках, равно сотворенные господом богом по его образу и подобию, принадлежат, если судить по их внешнему виду, к двум различным расам.

Молодые конюшие, заметив, что на них смотрит из окошка такая красавица, начали ей улыбаться, а потом, осмелев, слать воздушные поцелуи. Вдруг, прервав свою забаву, они бросились к какому-то вельможе, сплошь расшитому серебром, а тот, видно, был весьма горд собой и принимал царственные позы; потом вся кавалькада умчалась, и полуденный зной тяжело навис над дворами и садами дворца.

К концу дня за Мари пришла мадам Бувилль. Взобравшись на мулов, оседланных по-дамски, то есть ходивших под вьючным седлом, на которое садились боком и ставили ноги на маленькую перекладинку, обе женщины в сопровождении слуг отправились в путь. У дверей таверн толпился народ, слышались крики; между сторонниками графа Валуа и людьми герцога Бургундского началась драка, причем обе стороны были изрядно под хмельком. Городской страже ударами дубинок удалось нанести порядок.

– В городе неспокойно, – пояснила мадам Бувилль. – И я ничуть не удивлюсь, если завтра начнется смута.

Проехав через мост Сент-Женевьев и заставу Сен-Марсель, они выехали за пределы Парижа. Пригороды уже окутывал вечерний сумрак.

– В дни моей молодости, – продолжала мадам Бувилль, – здесь и двух десятков домов не было. Но теперь людям негде селиться в городе, вот они и застроили все поля.

Монастырь Святой Клариссы был обнесен высокой белой стеной, скрывавшей от постороннего глаза строения, палисадники и фруктовые сады. В стене – низенькая дверца, и возле дверцы – башенка, встроенная в толщу каменной стены. Какая-то женщина, с низко надвинутым на лоб капюшоном, быстро прошла вдоль стены, приблизилась к башенке и, вынув из-под плаща сверток, положила его в клеть; из свертка неслись жалобные попискивания; женщина повернула деревянный барабан, дернула за веревку колокол, но, заметив посторонних, бросилась прочь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (http://www.litres.ru/moris-druon/negozhe-liliyam-pryast/?lfrom=201227127) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Сноски

1

У алтаря господня (лат.).

2

Итак, вы синьор Гуччо Бальони? (итал.)

Комментарии

1

Я еще ему преподнес свою знаменитую книгу – В возрасте семидесяти пяти лет сенешаль де Жуанвилль начал свою «Историю святого Людовика» по просьбе королевы Жанны Наваррской, жены Филиппа Красивого, которая хотела иметь книгу о «святых словах и добрых деяниях» короля-крестоносца. Написание заняло у Жуанвилля десяток лет. Королева Жанна за это время умерла, так что свой труд автор посвятил ее сыну, Людовику Наваррскому, будущему Людовику X Сварливому: «Моему доброму государю Людовику, сыну короля Франции», которому и преподнес его, как об этом свидетельствует миниатюра того времени.

2

…негоже утверждать, что рай и ад необитаемы или вовсе не существуют– Избранному Папой в странных обстоятельствах – которые мы лишь облекли в романную форму, но отнюдь не выдумали, – Жаку Дюэзу (Иоанну XXII) предстоит примерно с середины своего понтификата поддерживать в различных проповедях и поучениях свой тезис о блаженном видении.

3

…в домашнем платье из темной тафты… – Основные шелковые ткани, использовавшиеся тогда в одежде, были: samit, близкий к нашему атласу, sandal и camocas, весьма похожие на тафту, а также золотые или серебряные материи – тяжелая парча с шелковой основой. Из шерстяных тканей использовали много marbre (мраморных), сотканных из разных цветов, raye (полосатых), camelin, то есть из верблюжьей шерсти или ее имитаций, и особенно ecarlates (пунцовых, алых). Эти последние были самыми роскошными и наиболее ценимыми, в них облачались по торжественным случаям. Наилучшие из них изготовлялись во Фландрии и Англии. Краситель добывали из сушеного червеца-кермеса, маленького насекомого, которое водится в Лангедоке. Были различные оттенки: ярко-алый, розовый, фиолетовый, кроваво-красный.

4

…с каждым из двадцати четырех разбежавшихся кто куда кардиналов… – Большинство авторов насчитывает в конклаве 1314–1316 гг. двадцать три кардинала. Мы насчитали двадцать четыре. В «римскую» партию входили шесть итальянцев – Джакопо Колонна, Пьеро Колонна, Наполеоне Орсини, Франческо Каэтани, Джакопо Стефанески-Каэтани, Никколо Альберти (Альбертини) деи Прато; один анжуец из Неаполя – Гийом де Лонжи и, наконец, один испанец – Лука де Флиско (называемый часто Фьески), кровный родственник короля Арагонского. Они стали кардиналами еще до понтификата Клемента V и обоснования пап в Авиньоне и получили свои шляпы между 1278 и 1303 гг., при Николае III, Николае IV, Целестине V, Бонифации VIII и Бенедикте XI. Всех остальных кардиналами сделал Клемент V. «Провансальская» партия включала в себя Гийома де Мандагу, Беранже Фредоля-старшего, Беранже Фредоля-

младшего, кагорца Жака Дюэза и нормандцев Никола де Фреовиля и Мишеля дю Бека. Наконец, гасконцы в количестве десяти были: Арно де Пелагрю, Арно де Фужер, Арно Нувель, Арно д’Ок, Реймон-Гийом де Фарж, Бернар де Гарв, Гийом-Пьер Годен, Реймон де Гот, Виталь дю Фур и Гийом Тест.

5

…присоединении Лиона к французской короне. – До середины XII в. городом Лионом владели графы де Форе и де Роанне – под чисто номинальным суверенитетом германского императора. Начиная с 1173 г., когда император признал за архиепископом Лионским, примасом Галлии, суверенные права, Лионне было отделено от Форе, и городом стала управлять церковная власть, имевшая право судить, чеканить монету и собирать войска. Этот режим не нравился сильной коммуне Лиона, состоявшей единственно из буржуа и купцов, которые более века боролись, чтобы освободиться от него. Наконец, после многих неудачных восстаний, они обратились к королю Филиппу Красивому, и тот в 1292 г. взял город под свое покровительство. Через двадцать лет, 10 апреля 1312 г., договор, заключенный между коммуной, архиепископством и королем, окончательно присоединил Лион к французскому королевству. Несмотря на требования Жана де Мариньи, архиепископа Санского, который контролировал и Парижскую епархию, архиепископ Лионский сумел сохранить сан примаса Галльского, единственную прерогативу, которая была за ним оставлена.

В конце средних веков в Лионе насчитывалось 24 трактирщика, 32 брадобрея, 48 ткачей, 56 портных, 44 торговца рыбой, 36 мясников, бакалейщиков и колбасников, 57 ловчих (то есть охотников), 36 хлебников и булочников, 25 содержателей постоялых дворов, 15 ювелиров или золотильщиков, 20 суконщиков и 87 нотариусов. Город управлялся коммуной, состоявшей из горожан-коммерсантов, которые назначали каждое 21 декабря двенадцать консулов, всегда из именитых граждан и выбранных из богатых семей; этот корпус назывался синдикальным.

Одним из самых старинных консульских родов было семейство Варе, суконщиков и менял. Тридцать один из ее представителей носил звание консула; некоторые часто переизбирались, один из них даже десять раз. Среди пятидесяти граждан,

которых лионцы сделали своими вожаками в 1285 г. для борьбы против архиепископа и за присоединение к Франции, насчитывалось восемь Варе.

6

…для всех предусматривалась плата соответственно совершенному ими греху. – Римская церковь, вопреки частым утверждениям ее противников, никогда не продавала отпущения грехов. Но она, что совсем другое дело, заставляла платить грешников за буллы, папские грамоты, которыми удостоверялось, что они получили прощение за свой грех. Эти буллы были необходимы в случае публичного проступка или преступления, когда требовалось представить доказательство отпущения греха, чтобы снова быть допущенным к церковным таинствам.

Тот же принцип применялся и в гражданском праве: королевские письма о прощении и помиловании требовалось занести в регистры, что служило основанием для взимания платы. Этот обычай восходит еще ко временам франков, даже до их обращения в христианство.

Жак Дюэз (Иоанн XXII) своей книгой расценок и учреждением Святой Пенитенцерии (церковного суда) систематизировал и широко распространил этот обычай, поправляя таким образом финансы церкви. К получению этих булл понуждалось не одно только духовенство, выплаты предусматривались и для мирян. Тарифы были рассчитаны в «гро», денежных единицах, равных примерно шести ливрам. Так, отцеубийство, братоубийство или убийство родственника среди мирян оценивалось в пять-шесть гро, так же как кровосмешение, изнасилование девственницы или кража священных предметов. Муж, побивший свою жену или доведший ее до выкидыша, был принужден уплатить шесть гро, и семь, если у супруги были вырваны волосы. Самый тяжкий штраф, двадцать семь гро, грозил за подделку апостолических посланий, то есть подписи Папы. Со временем цены росли, параллельно обесцениванию денег.

Но, повторим, речь шла не о покупке отпущения грехов, а только о регистрационном сборе за предоставление подлинных доказательств. Все бесчисленные памфлеты, посвященные этому вопросу, распространявшиеся

начиная с Реформации, чтобы дискредитировать Римскую церковь, опирались на это умышленное недоразумение.

7

…церковь при монастыре доминиканцев, называемую иначе церковью Святого Иакова… – Братья-проповедники, или доминиканцы, назывались также якобинцами из-за церкви Св. Иакова, предоставленной им в Париже, вокруг которой они устроили свой монастырь. Лионская обитель, где состоялся конклав 1316 г., была построена в 1236 г. на территории за домом тамплиеров. Монастырский ансамбль простирался от современной площади Якобинцев до площади Белькур.

Купить: https://tellnovel.com/moris-dryuon/negozhe-liliyam-pryast-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити